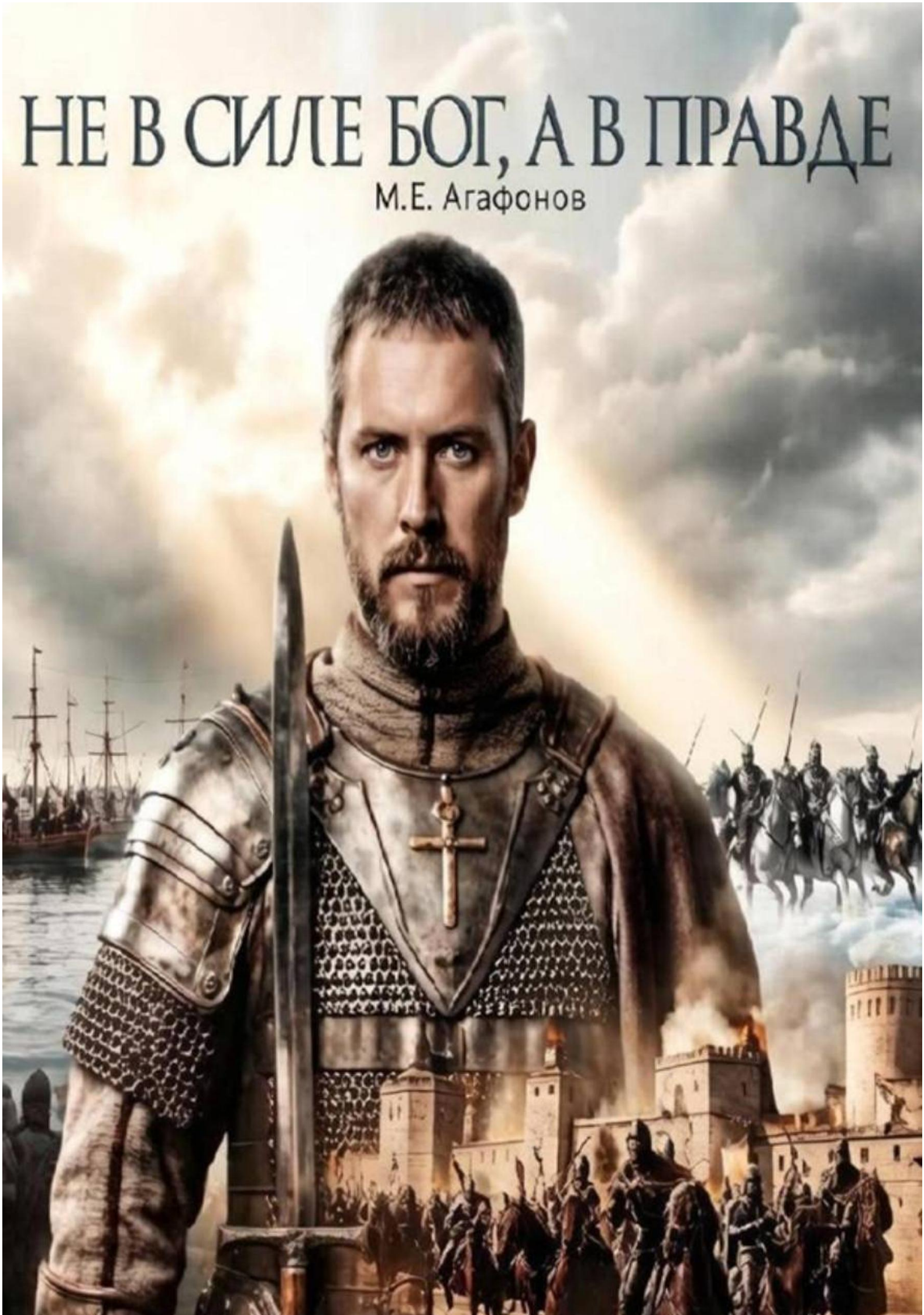
НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ

М.Е. Агафонов



Михаил Агафонов

Не в силе Бог, а в правде

«Автор»
2026

Агафонов М.

Не в силе Бог, а в правде / М. Агафонов — «Автор», 2026

Новгород первой половины тринадцатого века не похож ни на один другой город Руси: вечевая площадь решает здесь больше, чем родство и даже сила меча. Семилетний Александр въезжает в этот город вместе со старшим братом Фёдором и оказывается в мире, где князя зовут по нужде и гонят без лишних церемоний, стоит ему перестать быть полезным. Он хочет укрепиться здесь настолько, чтобы со временем защитить всю Русь, стиснутую между шведскими и орденскими мечами с запада и неотвратимой тенью Орды с востока. Но вечевая вольница не терпит чужой власти дольше нужного, а посадник и боярские роды уже присматриваются к мальчику, прикидывая, насколько он управляем. Женитьба на полоцкой княжне, тревожные вести о шведских парусах в устье Невы, первая битва и первая рана — страна требует от подростка взрослых решений, пока бояре спорят, нужен ли им вообще князь. Риск очевиден: Новгород умеет забывать тех, кто перестал быть нужен. Как удержаться на столе в городе, который сам решает, кому на нём сидеть?

© Агафонов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие. 5
Глава 1. Чужой город 6
Глава 2. Наука отца 12
Глава 3. Первое слово князя 21
Глава 4. Невеста из Полоцка 26
Глава 5. Паруса на Неве 33
Глава 6. Невская битва 39
Глава 7. Неблагодарный город 46
Глава 8. Зов из-за озера 52
Конец ознакомительного фрагмента. 54

Михаил Агафонов
Не в силе Бог, а в правде

Предисловие.

Мне повезло родиться, вырасти и прожить большую часть своей жизни в Новгородской области СССР. Еще в дошкольные годы я уже знал про Новгородскую республику, князя Александра Невского, Невскую Битву, Ледовое побоище, вече, ушкуйников и еще много всего, относящегося к этому периоду истории моей малой родины.

Позже, в школе, я посмотрел фильм Сергея Эйзенштейна “Александр Невский”, оставивший множество впечатлений. Думаю любой человек в нашей стране знает знаменитую фразу из этого фильма: “Кто с мечем к нам придет.....”. Помню свое разочарование, когда узнал, что Александр Невский таких слов не говорил.

Читал несколько художественных произведений про князя - от повестей, до коротких рассказов. Имя Александра Невского было гарантией, что произведения интересные.

Однако, доступная в то время информация, оставляла впечатление какой-то фрагментарности, недосказанности. Отдельные кусочки не складывались в полноценную картину жизни князя.

Еще позднее, в 90-е годы, появилось множество публикаций в духе альтернативной истории, о том, что Александр Невский в Золотой Орде братался с ханом Сартаком и планировал объединить Русь с Ордой в единое государство. Никаких доказательств, впрочем, не приводилось.

Затем, когда информация стала более доступной для простых людей, стало понятно, что самая ранняя летопись, в которой упоминается Александр Невский, датирована 1377 годом (Лаврентьевская летопись). То есть, она написана больше, чем через сто лет после смерти князя. В Ипатьевской летописи вообще нет упоминания о нем. Все исторические исследования, жизнеописания и хронологии основываются на таких скудных источниках, как переписанные через сотни лет после смерти князя, летописи в различных списках, причем, неизвестно насколько точно.

Прижизненного изображения Александра Невского не сохранилось и все известные изображения, в том числе на иконах, художественный вымысел авторов.

Детские ощущения о том, что полной и связной картины жизни Великого князя Александра Невского не существует, постоянно подталкивали меня к каким-то действиям. Появившиеся ближе к настоящему времени фильмы, книги и другие публикации совсем не исправили положение. Все они описывали какой-либо выделенный фрагмент жизни князя.

Таким образом, данная книга – это попытка нарисовать общую картину, понять движущие мотивы поступков и решений князя в непростых ситуациях.

Название книги – изречение, приписываемое историками и церковью святому благоверному великому князю Александру Невскому.

Глава 1. Чужой город

Осень 1228 года. Дорога тянется тринадцать дней, и всё это время под полозьями хлюпает одна и та же каша из грязи и первого робкого снега. Колеса давно сняты — обоз идет санным путем, хотя до настоящей зимы еще далеко, и там, где снег не лег, полозья скрипят по голой земле, цепляются, и возок кренится так, что Александр, которому недавно стукнуло восемь, хватается за край овчины, чтобы не съехать к ногам брата.

Он сидит, укутанный до самого подбородка, и от овчины пахнет дымом и лошадиным потом — запах, который за эти дни стал привычнее материнских покоев в Переяславле. Отец снарядил их в путь по первому заморозку, обещал, что к Новгороду ляжет крепкий снег, но осень в этом году упрямится, и обоз тащится медленнее, чем хотелось бы боярам.

Фёдор сидит рядом, но держится иначе — выпрямив спину, будто невидимый экзаменатор уже ставит ему оценку за "достоин ли быть старшим". Ему десять, и этой разницы в два года ему хватает, чтобы смотреть на брата чуть свысока, хотя кутается он в такую же овчину и так же шмыгает носом.

— Не вались на меня, — говорит он, не поворачивая головы. — Ты не маленький уже.

Александр не валится, но и не отодвигается. Он слушает, как впереди, в головном возке, бубнят голоса бояр-пестунов. Голоса стали частью дороги, как скрип полозьев: Александр то проваливается в полудрему под них, то выныривает, ловя обрывки.

— Ты пойми, — говорит Якун Моисеевич спутнику, — город этот не Переяславль. Тут князя зовут — и тут же могут указать на ворота, едва он им встанет поперёк горла.

— Своей воли у них в избытке, — хмыкает Федор Данилович. — Без меча им никак, а своего правителя растить боятся. Вот и берут со стороны. Берут — и держат, покуда полезен. А чуть что не по нраву — выпроводят.

Фёдор, слушавший вполуха, вдруг оживает:

— Кто ж посмеет указывать сыну Ярослава Переяславского на ворота? Пусть только попробуют.

Якун оборачивается, смотрит через плечо коротко и тяжело. Этого хватает, чтобы Фёдор примолк.

— Новгород всякого сына всякого князя видал, — говорит Якун в пустоту дороги. — И не раз указывал.

Александр слушает, не вмешиваясь. Слово "вече", прозвучавшее дважды, засело в нём, как заноза.

— А что такое вече? — спрашивает он.

— Вырастешь — узнаешь, — коротко бросает Якун.

Александр отворачивается к пологу. Поля тянутся серые, а за ними встают стены — не каменные, как во Владимире, а рубленые, из тёмного от сырости дерева. Но главное — то, что над ними.

София.

Она не сияет золотом, как рассказывали странники о Киеве. Её свинцовые шлемовидные купола кажутся выкованными из того же тяжелого, промерзшего неба. Камень стен — плинфа — выцвел до цвета седой волчьей шерсти. Собор не парит в сладостной легкости, он врастает в берег, давит на него всей своей каменной массой. Это не просто храм, это сам Новгород, сжавшийся в кулак. Александр вспоминает слова отца: "Где София, там и Новгород", и теперь понимает их не как молитву, а как географию. Город без этого камня — просто куча мокрых бревен.

"Впечатляющий образец зодчества, — думает княжич, кутаясь в мех. — Интересно, как удалось заманить на строительство византийцев? Видимо князь Владимир Ярославович был убедительным".

Ворота встают ближе, чем ожидалось. Под навесом башни стоит стража. Один из них, не глядя на возок с княжичами, пересчитывает возы. Он не кланяется, не снимает шапки, только кивает, пропуская обоз дальше, будто тот — такой же товар, как рыба или воск.

Александр ждет, что их остановят — дома, в Переяславле, к отцовскому поезду всегда выходили навстречу. Здесь стяга будто и не видят. Возок проезжает под аркой, и на мгновение становится темно и гулко, пахнет сырым деревом и дёгтем, а потом снова свет — городской, тесный.

Улица под копытами стучит непривычно жёстко — не грязь, а бревенчатый настил, плаха к плахе. Каждый шаг коня отдается коротким деревянным звуком, будто кто-то ровно вколачивает гвозди. По сторонам — лавки, навесы, люди. Торговка с корзиной рыбы оборачивается без всякого почтения. Кузнец у дверей кузни не отрывается от дела. Мальчишки, гонявшие тряпку, останавливаются на миг, провожают взглядом возок и бегут дальше.

Никто не кланяется. Никто не снимает шапки. — Ещё одни, — бросает кто-то из толпы негромко, и смех за этими словами короткий, сухой.

Александр понимает, что это про них с братом. Он вжимается плечом в плечо Фёдора. Брат от неожиданности дёргается, но не отстраняет его. Фёдор же, напротив, выпрямляется так, что становится выше на целую голову, расправляет плечи, задирает подбородок — явно услышал смех и отвечает на него единственным доступным способом: держится с видом, будто весь город обязан встречать их колокольным звоном. — Чего скалятся, — бормочет он себе под нос. — Князя везут, а они...

— Тихо, Фёдор Ярославич, — негромко говорит Якун. — Здесь кричать не след. Здесь слушают больше, чем говорят сами.

Александр молчит, разглядывая деревянные стены с резными наличниками, и чувствует внутри что-то мелкое и холодное. Он смотрит на эти лица — обычные, занятые своим, — и начинает понимать, что есть на свете место, где имя отца само по себе ничего не стоит.

Якун наклоняется к нему:

— Здесь, княжич, хлебом-солью задаром не встречают. Здесь сперва присматриваются. Примеряют — впору ли.

— Примеряют, как сапоги? — спрашивает Александр. Якун усмехается.

— Вроде того. Только сапог скинуть легче, чем князя.

Возок качается дальше. За поворотом улицы открывается что-то широкое, людное — Торг. Но дорога ведет прочь, в сторону детинца. Пространство меняется. Деревянный настил сменяется плотно убитой землей, смешанной с конским навозом и рыбьей требухой — запах Торга, который не смыть никаким дождем. По правую руку, за высоким тыном, кипит своя жизнь: там, где когда-то стоял пышный дворец Ярослава Мудрого, о котором слагали легенды северные скальды, теперь нет и следа былого великолепия. Лишь ровные ряды деревянных лавок, амбаров и навесов тянутся вдоль берега Волхова. Вереницы судов — от крутобоких учанов до заморских коггов — чернеют у пристаней. Здесь воздух дрожит от иного гула — не дорожного, а базарного. Вопят зазывалы, звенят монеты, скрипят лебедки.

Александр косится на брата. Фёдор, забыв про обиду, жадно впитывает этот шум. Ему десять, он сын князя, и в его представлении богатство — это вот такие амбары, полные добра. Он не слышит в этом гуле угрозы, только звон будущей казны.

Александр же смотрит выше, за спины лавочников, туда, где над деревянным морем начинает вырастать из земли другая мощь. Детинец. А над его зубцами, венчая всю эту картину, снова встает тяжелый шлем Софии. Теперь она не просто на горизонте — она нависает над ними, наблюдая за въездом княжичей с высоты своего каменного престола.

Дорога под полозьями выравнивается, и веки тяжелеют. Голоса бояр стихают до гула, похожего на шум воды, и в нем Александру мерещится другой голос — отцовский.

Горница в Переяславле натоплена так, что от печи идет сухой жар. Отец присаживается на корточки перед сыном, и от его высокого роста не остается ничего, он становится вровень с мальчиком.

— Не хнычь, — говорит Ярослав Всеволодович. — Мужчина при расставании не плачет.

— А что делает? —спрашивает маленький княжич.

— Запоминает, — отвечает отец, — зачем расстаются.

Он берет руку Александра и прижимает ладонью к рукояти своего меча. Рукоять холодная, оплетённая кожей, тяжесть её чувствуется даже через отцову руку.

— Это не игрушка, — говорит отец. — Запомни её тяжесть.

Потом отец встает, и в памяти всплывает другой обрывок: отец разговаривает с дружинником.

— Новгород кормит, да не любит, — говорит он. — Хлеб с него возьмёшь, а поклона не жди. Этот город слушает князя, пока князь ему нужен, а чуть минует нужда — отворачивается.

Возок подбрасывает на колдобине, и видение рассыпается. Есть только сырой воздух, скрип колёс и плечо Фёдора. Александр трёт лоб и понимает, о чем было то напутствие. Не о бое. О сегодняшнем дне — о своевольном городе, который кормит, да не любит.

Ярославово дворище открывается не сразу — сперва бревенчатый тын, потом ворота без украс. Обоз останавливается. В палатах пахнет нежильём: сырым деревом, остывшей золой. В углу горницы лежит забытая кем-то рукавица. Александр смотрит на неё дольше, чем следовало бы, будто в этой мятой тряпице больше правды о доме, в который его привезли.

— Здесь будете спать, — говорит Якун.—Завтра в Городище обоснуемся.

Фёдор уже прошел дальше, в соседнюю горницу, и ходит там хозяйским шагом.

— Добрая работа, — говорит он. — Отцовы хоромы попросторнее, а всё ж. Александру хочется сказать, что в отцовых хоромах пахло воском, а здесь — остывшей золой, но брат уже отошел к окну.

— Тебе не кажется, что нас тут не ждали? — спрашивает Александр.

— Нас позвали, — говорит Фёдор твёрдо. — А позвали — значит, ждали. Это ведь Новгород зовёт князя, не князь просится.

За слюдяным оконцем доносится далёкий гул — не то крик, не то звон.

— Что это? — спрашивает Александр. — Торг, видно, — отвечает Фёдор. Александр смотрит в мутное стекло и думает, что звук этот не похож ни на один торг в Переяславле. В нем есть что-то другое — множество голосов, спорящих разом, и ни один не желающий уступить.

Утро встречает Новгород мелким дождём. Якун ведет мальчиков через торг — мимо рыбных рядов, где бочки воняют солью, мимо кож. Александр понимает, что боярин делает это нарочно: показать не стены, а то, чем город дышит.

— Вот и она, — говорит Якун, когда ряды расступаются.

Вечевая площадь пуста. Александр ждал увидеть двор, но здесь нет ни тына, ни ворот, одна открытая земля, утоптанная тысячами ног. Посреди — помост из толстых плах. Рядом — возвышение пониже.

— Степень, — поясняет Якун. — Там старейшины стоят. Посадник, тысяцкий.

Александр смотрит на степень и сравнивает её с отцовским престолом в Переяславле. Здесь просто доски, но что-то в них тяжелее любого престола. Над площадью на столбе висит колокол. Не церковный — сам по себе, отдельный. Язык у него толщиной с руку взрослого мужика.

Мимо проходит мужик с коромыслом, завидев колокол, стягивает шапку.

— Шапку перед кем снял? — тихо спрашивает Александр.

— Перед колоколом, — говорит Якун. — Не перед вами. Тут так заведено.

— Почему перед колоколом, а не перед князем? Якун молчит, подбирая слово.

— Потому, княжич, что ударят в этот колокол — и весь город на площадь сойдётся. И тогда, стоя здесь, последний смерд, коли он громче прочих кричит, более весит, чем ты. Вече решает — вече и слушают. А князь при вече — что гость за столом: посадили, кормят, да только стол не его.

Слова ложатся в голову тяжело, как камни.

— А если вече захочет, — говорит Александр, — может оно князя прогнать? Совсем? Якун не отвечает сразу. Он смотрит на колокол. Это молчание проникает в Александра холоднее дождя.

— Бывает и такое, — говорит он наконец. — Пойдём, княжичи, застынете.

Фёдор за это время успел отойти в сторону, к краю площади, и теперь нарочито неспешно пинает мыском сапога мокрый камешек. Но Александр замечает, как взгляд брата то и дело возвращается к столбу.

— Пустое, — говорит Фёдор, пихая камешек сильнее. — Колокол как колокол. У нас в Переяславле звонниц поболе. Но голос у него звучит не так уверенно, как хотелось бы.

Якун ведет их прочь с площади, обратно в путаницу улиц. Они идут мимо торга, где запах вяленой рыбы и кислого овса бьет в нос сильнее, чем сырость. Александр смотрит не под ноги, а по сторонам. Город кажется бесконечным. Деревянные хоромы бояр, стоящие на высоких подклетах, сменяются тесными рядами ремесленников, от кожевенных амбаров несет едкой кислятиной, от кузен — жаром.

Наконец шум Торга остается позади, и они выходят к реке. Волхов здесь широк, свинцов и неспокоен даже в безветрие. Прямо перед ними, соединяя берега, висит Великий мост. Он не каменный, а деревянный, на мощных быках-ряжах, вбитых в дно. Сейчас, в половодье или ледостав, его бы уже начали разбирать, но осень затянулась, и мост стоит. Он гудит. Не от ветра — от шагов. По нему сплошным потоком в обе стороны идут люди, тянутся груженые сани, скрипят телеги. Это горло города, через которое течет вся его торговая кровь.

— Левый берег — София, правый — Торг, — бросает Якун, ступая на бревенчатый настил. — А мы сейчас пойдем туда, где начинался сам Новгород.

Они возвращаются на торговую сторону. С моста открывается вид на обе стороны. Справа, за Торгом, Александр замечает мощную каменную громаду — Николо-Дворищенский собор. Он приземистее и тяжелее Софии, похож на вросший в землю боевой шлем. А прямо перед ними, на торговой же стороне, но чуть выше по течению, в стороне от рыночной суеты, над речным обрывом встает Городище.

Это совсем не то, что они видели в Детинце. Там — крепость, власть церкви и веча. Здесь — власть меча. Или то, что от неё осталось.

К тому времени, когда княжичи сходят с моста на правый берег, суета Торга стихает.

Все садятся на лошадей, подготовленных заранее отроками из отцовской дружины. Дорога, утоптанная тысячами копыт, ведет их прочь от людного берега, вверх по пологому склону. Воздух здесь другой — пахнет не рыбой и дегтем, а сухой травой, остывающей землей и конским навозом.

Рюриково Городище не поражает высотой стен. Оно давит простором и древностью. Это не парадная резиденция, а суровое, вросшее в землю становище.

Сама площадка мыса, с трех сторон охваченная высоким берегом Волхова и его малого притока — Волховца, кажется голой. Земля здесь плотно выбита копытами до каменной твердости. Никаких каменных палат. Главная, вросшая в землю изба князя — огромный, длинный сруб из вековых сосен, потемневших от времени, с земляной кровлей, на которой сейчас пробивается чахлая осенняя трава. Она стоит чуть поодаль от воды, на самом высоком месте, и из её единственного слюдяного оконца, должно быть, виден весь изгиб реки.

Вокруг неё — не изящный двор, а хозяйственный стан. Княжеские палаты: приземистые, широкие, лишенные всяких резных украшений. Это не дом для пиров, это военный штаб и ночлег. Стены из толстых бревен кажутся черными от копоти и дождей.

Дружинный дом: длинная, приземистая казарма, из трубы которой тянет кислым запахом щей и мокрой овчины. Там сейчас, должно быть, сидит отцова переяславская дружина, и Александру на миг становится спокойнее от мысли, что за этими стенами есть полсотни своих копий.

Конюшни и амбары: вытянулись вдоль берега. Оттуда доносится фырканье лошадей и звон цепей.

Ворота: массивные, дубовые, обитые ржавым железом, но без резьбы и святых образов. Они смотрят на реку, а не на город.

Здесь нет звонарей, нет веча, нет владычных палат. Здесь пахнет мужским потом, кожей, железом и гарью. Городище кажется островом посреди суши. Оно отделено от шумного, кичливого Новгорода не только рекой, но и невидимой чертой. Сюда не пускают торговцев с криками, сюда не зовут вече кричать о податях. Сюда зовут князя, когда нужен меч.

— Приехали, — говорит Якун, останавливая коня у ворот Городища. — Слезайте, княжичи. Отцова дружина уже греется.

Александр спрыгивает на землю. Сапоги вязнут в раскисшей от дождей глине двора. Он оглядывается назад, на ту сторону Волхова. Там, за рекой, в сизой дымке, возвышается белая, холодная громада Софии. Она кажется отсюда, с правого берега, не частью этого города, а его строгим, молчаливым судьей.

"София смотрит, — думает Александр, шагая к темному зеву ворот. — А здесь, на этой вытоптанной земле, всё решают не молитвы, а длина клинка и прочность засова".

На Городище вечер входит рано. В большой палате пахнет мужским потом и воском. К Якуну пришли трое бояр. Александра выпроваживают в соседнюю клеть. Сон не идет. Щель между досками пропускает свет и голоса.

— Был бы посадник крепок да казна цела — город и без князя проживёт, — рокочет один голос.

— А кто полки поведёт, когда свеи на Неву придут? — отзывается другой. — Коли надо будет — и меч в руках удержу.

— То-то и оно, что "коли надо будет". А князь на то и сидит, чтобы завтра дружину в седло поднять.

Александр лежит, вцепившись в войлок. Его привезли сюда не затем, чтобы он был господином. Его привезли, чтобы он был нужен — покуда нужен.

Светец догорает. Фёдор лежит на спине, разметав руку поверх овчины, и дышит с присвистом. Брат проваливается в сон быстро. Александр лежит без сна и смотрит в потолок. Хотя до города две версты, звук по реке разносится далеко, слышно отдельные крики, город не спит. Стучит колотушка, плещет Волхов. Звуки чужие, непривычные, и всё же в них нет злобы — они просто есть, как дыхание самого города.

Александр думает об отце. Вспоминается ладонь, прижатая к рукояти меча. Меч в детской руке ничего не решает сам по себе. Сила — это то, что держит в руке дружина. Но право — не в мече. Право в слове, которое целый день вертелось у него на языке.

Александр едва слышно, одними губами, повторяет: "Вече". Слово постепенно перестает быть камнем в горле. Город, который может позвать князя и может прогнать его — вот что оно значит.

Он думает о том, что сказал боярин: князя держат, пока он полезен, а потом указывают на ворота. Мысль эта уже не пугает. Она становится тверже. Из этого соединения рождается что-то новое — еще не решение, а только его зачаток.

Он не позволит. Эта мысль, еще не взрослая, но упрямая, появляется на самом краю сна. Он не позволит этому городу однажды просто указать на ворота. Он еще не знает как, но сама мысль уже есть, засевшая, как заноза.

Последнее, что он чувствует перед тем, как сон накрывает его — не страх. Это что-то другое, холодное и спокойное, не по годам спокойное для восьмилетнего мальчика: решимость, которая еще не имеет формы, но уже имеет вес. И останется с ним на всю жизнь.

За окном колотушка стучит тише, и Волхов всё так же плещет о сваи, убаюкивая город, которому нет дела до того, что в одной из горниц на Городище только что решилась часть его судьбы.

Глава 2. Наука отца

Зима 1228 года. Снег лег на Городище недели две назад, но земля на дворе всё ещё не промерзла, и к вечеру, после солнечного дня от неё тянет сырым духом, как от погреба. Зато ночью морозит по-настоящему, и площадка перед конюшнями, вытоптанная до твёрдости камня, высыхает и не хлюпает под ногами по утрам.

Якун Моисеевич выходит на эту площадку каждое утро, невысокий, широкий в плечах, с лицом, таким обветренным, что морщины кажутся прорезанными ножом. Первым делом он оглядывает обоих княжичей так, будто проверяет коня перед покупкой.

— Меч не палка, — говорит он, беря из рук Александра обрубок липы. — Палкой машут. Мечом бьют. Хват вот такой. Он разворачивает мальчику кисть, подкладывает большой палец иначе и сжимает его пальцы своими, твёрдыми, как дубовая кора.

— Крепче. Не сожмёшь — выронишь при первом ударе, и неважно, князь ты или холоп, меч про это не знает.

Александр сжимает. Пальцы ноют, но он молчит — отцовский пестун не делает скидок на возраст. Якуну всё равно, что одному восемь, а другому десять: он поправляет стойку у обоих одинаково резко, тычком в поясницу или под колено.

— Ноги шире. Ты не на вече стоишь, кланяться некому.

Фёдор стоит напротив, выше брата на голову. Деревянный меч в его руке кажется игрушкой, но удары от этого не легче.

— Готов? — спрашивает он без жалости, с одной лишь спешкой мальчишки, которому хочется настоящего боя. Александр кивает, и в следующий миг обрубок липы с глухим стуком бьёт его в предплечье, а затем подсекает под колени. Он валится на твердый снег, чувствуя под ладонями острые края льдинок.

— Опять руку опустил, — замечает Якун. — Вставай.

Александр встаёт. Ладони горят, на правой сочится кровь, но он не смотрит на неё. Здесь другая земля, и боль здесь — не повод для жалобы, а часть науки. Он вытирает ладонь о теплые порты и снова встаёт против брата. Фёдор бьёт сплеча, всем телом. У Александра нет той силы, чтобы принять удар стоя, его отбрасывает.

— Хватит ему реветь, — бросает один из молодых дружинников у коновязи.

— Не ревёт, — отвечает Якун, не оборачиваясь. — Встаёт.

— Старший бьёт сплеча, всей силой, — говорит дружинник, будто рассуждая вслух. — А младший всё с оглядкой норовит, примерится — да отступит. Сила не та. Слова падают мимоходом, но Александр, поднимаясь, запоминает их крепче хвата. Он стискивает зубы так, что скулы белеют, и снова встаёт против брата.

—К исходу седмицы князя Ярослава в Новгороде жду, — произносит вдруг Якун, отводя рукав Фёдора, который снова замахнулся слишком размашисто. Руки мальчиков замирают. Деревянные мечи повисают в тишине.

— Отца? — переспрашивает Фёдор, и в голосе его что-то дрожит.

— Отца, — подтверждает Якун. — Так что покажете ему, чему выучились. Коли есть, что показывать. И снова делает знак начинать сначала.

Ярослав Всеволодович въезжает на Городище без шума. Александр узнает отца по посадке в седле, по тому, как тот не оглядывается на встречающих. За столом в горнице свечей немного, хлеб ржаной, уха из свежей рыбы. Ярослав ест неспешно, расспрашивает коротко.

— Ну, что видели в городе? Фёдор отвечает сразу, с гордостью:

— Якун мечу учит. Я уже сбиваю Александра с ног в каждом заходе.

— Сбиваешь, — повторяет Ярослав без укора. — А копейщики мои тебе по нраву пришлись?

— По нраву. Сила в них добрая.

Ярослав отламывает кусок хлеба, мочит в ухе, и молчит.

— Силой одной недруга не возьмёшь, — говорит он. — Помню, когда на чудь ходили, был у меня воевода один, горячий. Повёл дружину вперёд без разведки. Побили врага. Только после того похода чудь на три года такую ненависть затаила, что мне же пришлось своих смердов с порубежья уводить — жечь начали в отместку. Дружина цела вернулась, а землю потеряли.

— Сила без расчёта — это гибель, — произносит Ярослав. — А расчёт без силы — унижение. Александр повторяет про себя эти слова. Сила без расчёта — гибель. Расчёт без силы — унижение.

— А если ни силы нет, ни согласия города за тобой? — спрашивает он тихо. Ярослав поднимает глаза и смотрит на младшего сына дольше, чем смотрел весь вечер.

— Тогда, — говорит отец медленно, — ждёшь. И копишь то, чего недостаёт. А пока ждёшь — не показываешь, чего у тебя нет.

Отец уезжает затемно. Александр остаётся с Якуном, и наука продолжается.

Но зима 1228-1229 годов перечеркивает её одним росчерком.

Февраль приходит не морозом, а липким, пронизывающим сырым холодом, от которого не спасают даже стены Городища. Снег, выпавший в начале месяца, за ночь чернеет, превращаясь в ледяную корку. На торге пусто — не потому, что праздник, а потому, что хлеб стоит дороже мехов.

В одну из таких ночей, когда ветер воет в печной трубе так, что кажется, будто город стонет, Александра будит не Якун, а резкий, чужой запах гари и крики внизу.

— Тиуна Якима кончили, — бросает Якун, врываясь в горницу уже одетым, с мечом наголо. Лицо у него серое. — Вече дьяка за забожничье порвало. Теперь за княжичей возьмутся.

Никаких сборов. Никакой чести. Никакого прощания с городом, который за прошедшее стал почти своим. Их, сонных, в одних рубахах, стаскивают с постелей, заматывают в первые попавшиеся овчины и, подхватив под руки, волокут вниз по лестнице. Александр не успевает даже обуться. Босая пятка скользит по обледенелым ступеням.

За оградой — нестройный, пьяный от ярости и голода гул толпы. Факелы мечут на стены рваные тени. Кто-то из челяди уже открывает тайный ход со двора, пока Якун, не церемонясь, заталкивает мальчиков в сани, накрывая их с головой медвежьей шкурой.

— Голов не поднимать, — рычит он, прыгая на облучок. — Кого увидят — порвут.

Александр лежит под шкурой, задыхаясь от запаха мокрого зверя и собственного страха. Он слышит, как трещат ворота Городища, как гогочет толпа, врываясь внутрь, как летит на землю что-то тяжелое — должно быть, их сундуки с добром. Он ждет удара копьем в борт саней, ждет крика "Держи княжат!". Но Якун хлещет коня, и они вылетают в темноту, прочь от города, который только что называл их своими.

Всю дорогу до Переяславля Александр думает не о науке Якуна. Он думает о том, как быстро всё рухнуло. Вчера он был княжичем, которому объясняли разницу между силой и расчётом. Сегодня он — беглец, прячущий босые ноги под вонючей шкурой, пока толпа делит его ложки и рубахи. Никакой меч не помог. Никакой расчёт не понадобился. Город просто выплюнул их, как рыбью кость.

Они возвращаются в феврале 1230 года.

На этот раз въезд другой. Нет ни страха, ни ночной скачки. Ярослав Всеволодович въезжает в город как хозяин, вернувшийся забрать свое. Позади него — обозы с зерном, которые он пригнал из Переяславля, спасая город от вымирания. Голод, унесший сорок тысяч жизней, сделал новгородцев сговорчивее любых боярских речей.

Ярослав сидит на княжьем столе в Детинце две недели. Ровно столько, сколько нужно, чтобы успокоить народ раздачей хлеба и поставить своих людей на ключевые посты. А потом он делает то, чего Александр никак не ждал.

— Оставайтесь, — говорит отец, когда они стоят на крыльце Детинца. — Фёдору двенадцать, тебе десять. Пора вам самим учиться держать этот город.

И отец уезжает.

Александр смотрит вслед его дружине, уходящей по зимнику, и чувствует внутри странную, звонкую пустоту. Отец не дал нового урока. Он просто оставил их здесь. Одних.

Зима 1230 года уходит неохотно, оставляя после себя грязь по колено и зловоние от неубранных за время мора и пожаров трупов. Новгород хоронил своих мертвецов всю весну. Александр, которому исполнилось девять, быстро понимает: наука Якуна про "стойку и хват" — это наука для спокойного времени. В городе, где люди прошедшей зимой ели мох и кору, а архиепископ Спиридон распорядился построить братскую могилу, куда свозили тела погибших, работают другие правила.

Он учится.

Он больше не смотрит на вечевую площадь снизу вверх, задрав голову. Теперь он смотрит на неё из окна горницы Ярославова дворища, прикидывая расстояние до ворот. Он замечает, как меняется голос посадника, когда в Детинец приходят вести о кораблях отца, идущих с зерном из Переяславля. Он видит, как те самые бояре, что зимой орали о "княжьем произволе", лебезят перед тиунами Ярослава, выпрашивая право на раздачу хлеба.

Александр запоминает: новгородцы не любят князей. Они любят полные амбары. Меч — это хорошо, но хлеб — лучше.

Фёдор пережил изгнание иначе. Старший брат, едва оправившись от страха, принимается за старое, но с удвоенным рвением. Он часами стоит на учебном дворе, сбивая в кровь руки о тренировочный щит, надувает щёки на пирах, пытаясь смотреть на седых бояр сверху вниз.

— Они у меня вот где, — говорит Фёдор брату вечером, сжимая кулак так, что белеют костяшки. — В прошлый раз мы бежали, как холопы. Теперь пусть только пискнут. Якун говорит, к осени отец пришлёт суздальскую дружину. Я им покажу, как вече на князей голос поднимать.

Александр смотрит на брата и молчит. Он понимает, что суздальская дружина хороша против внешнего врага, но бесполезна, если город решит просто запереть ворота и не впускать. И он спрашивает:

— А если они снова запрут ворота, брат? Фёдор осекается, багровеет, но быстро находит ответ, явно подслушанный у кого-то из старших:

— На то у отца есть дружина, а у нас — имя. Имя Ярослава. Оно само по себе — полк.

Александр лишь кривит губы в усмешке, которую Фёдор не видит в полумраке. Имя Ярослава — это полк, пока у Ярослава есть серебро. А серебро нужно возить через эти самые ворота, которые бояре могут запереть.

Лето 1231 года приносит не облегчение, а огонь. После гнилого, мокрого года город высыхает, как труха. В июне, в самую сушь, занимается пожар. Горит не околица — горит Торг, горит Славенский конец. Огонь перекидывается через Волхов. Александр стоит на стене Детинца рядом с Якуном и смотрит, как пламя отражается в воде. Слышны крики, треск бревен, но страшнее всего — тишина. Город, который недавно хоронил мертвецов от голода, теперь в ужасе смотрит, как огонь пожирает то, что уцелело.

— Хорошо горит, — тихо говорит Якун, щурясь на зарево. — Чисто. Теперь, глядишь, и мор отступит.

Александр смотрит на черные столбы дыма и думает, что Якун прав. Новгород лечит себя сам — то мором, то огнем, то изгнанием князей. И к каждому лечению ему, мальчику, придется подбирать своё лекарство.

Он продолжает учиться.

Осень приходит в Новгород не красками, а запахом – прелой листвой с Городища, дымом овинов, мокрой соломой с телег, что тянутся к торгу. Якун Моисеевич берёт Александра с собой на посадничий двор без лишних слов, только велит стоять у стены и молчать, что бы ни услышал.

– Глаза и уши открыты, язык на привязи, – говорит он, и Александр кивает так серьёзно, будто ему доверили сторожить казну.

Александр встаёт у стены, рядом с Якуном, и первое время старается разглядеть, кто здесь главный: все одеты богато, у всех бороды лопатой, у всех кресты на груди поверх рубах, и по виду не отличить купца от владетеля земли.

Главным оказывается тот, кто громче всех кричит. Разговор идёт о мыте с заморских гостей – немецкие купцы привели обоз с сукном и солью, и теперь десяток голосов решает, сколько с них содрать за провоз через город.

– Да пущай платят, как от века платили! – хрипит кто-то грузный, стуча кулаком по столу так, что звенит ковш с мёдом. – А то повадились, ироды, мимо нас в Ладогу ходить, будто мы тут неведомо кто!

– А ежели уйдут вовсе? – тонко вскрикивает другой, тощий, с реденькой бородёнкой. – Тогда что считать, пустой амбар?

Ругань идёт такая, что Александр невольно пригибает голову – при отце за столом так не кричат, даже когда спорят о серьёзном. Здесь же будто нарочно соревнуются, кто громче и грубее скажет, и никто не стесняется мальчишки у стены, точно он вовсе не человек, а скамья или кадка с рассолом.

Один из старших, тот, что в самом богатом корзне, вдруг замечает его взгляд и кивает в его сторону без злобы, скорее с усмешкой:

– Эвон, княжич глядит. Пусть глядит, авось такому наука впрок пойдёт – раньше нашего уразумеет, что к чему.

Остальные смеются, кто-то машет рукой – дескать, пустое, мал ещё, – и спор возвращается к прежнему руслу. Александр смотрит на этого боярина внимательнее: лицо хриплое от крика, голос грубый, как у человека, что не раз стоял в строю, а не только за столом сидел.

Через недолгое время, после того как накричались вдоволь, дело решается вдруг быстро и просто: пятеро сходятся в кучу у печи, шепчутся, кто-то называет число, кто-то кивает, кто-то морщится, но соглашается – и вот уже писец мочит перо, а обоз немецкого гостя, о котором говорили с таким жаром, получает свою цену без единого меча, без единого всадника. Решили не силой – сговором нескольких голосов, и Александру это кажется странным: будто целая судьба товара, людей, лошадей взвешена не на весах, а на языках пятерых мужиков, что уже тянутся к ковшу с мёдом, как ни в чём не бывало.

Александр смотрит на их бороды, на кресты, на перстни с печатями и думает, что все они одинаково кланяются при встрече и одинаково говорят «княжич», а внутри у каждого своё. И это кажется ему важнее самого спора – важнее, чем сколько возьмут с немецкого гостя.

Когда Якун наконец выводит его на двор, где уже стемнело, Александр идёт молча, перебирая в памяти лица, будто раскладывает их по двум кучкам, как раскладывал бы орехи и желуди – похожие с виду, да разные внутри. Этот терпит князя, потому что без него нельзя. Тот терпит, потому что выгнать пока не с руки. А вот тот, хриплый, в богатом корзне, кажется, не из тех и не из других – этот присматривается, какую пользу извлечь, пока князь мал и покладист.

– Чему научился? – спрашивает вдруг Якун, не оборачиваясь, шагая впереди по тёмной улице.

– Что не все бояре одинаковы, – отвечает Александр осторожно.

Якун хмыкает в бороду – то ли одобрительно, то ли насмешливо, не разобрать, – и больше ничего не говорит до самого Городища.

Зима 1231-1232 года. Учеба продолжается.

Лучина трещит и роняет на доску стола крохотную искру, она гаснет раньше, чем Александр успевает её смахнуть. Монах-учитель, отец Поликарп, ушёл ещё засветло, оставив братьям переписывать на вощёных дощечках псалом про возвеселение сердца, и теперь в горнице только двое, да ещё слышно, как за стеной переступает ногами лошадь в конюшне – мороз загоняет её ближе к людскому теплу.

Александр ведёт писалом по воску медленно, стараясь не смазать буквы: отец Поликарп говорил, что хорошая рука видна по ровности строки, а неровная рука выдаёт неровные мысли. Он как раз выводит «возвеселихся», когда Фёдор, не дописав и половины строки, с силой бросает своё писало на стол. Оно подскакивает и падает на пол, и Александр невольно смотрит, как оно катится к печи.

– Будет с меня, – говорит Фёдор. Голос у него не злой, скорее усталый, будто он долго нёс что-то тяжёлое и наконец поставил на землю.

Александр поднимает голову, но ничего не спрашивает: с братом так привычнее, он сам скажет, если захочет, а если начать спрашивать – замкнётся и будет цедить слова нехотя, как воду сквозь зубы.

– Мне скоро тринадцать минет, – продолжает Фёдор, глядя не на брата, а куда-то в тёмный угол горницы, где развешаны по стене чьи-то старые сбруи. – А я сижу тут с тобой, малым, над одной доской, и дворовые уже шутки шутят. Мол не видно старшинства, слыхал?

Он произносит это без обиды на самих дворовых – скорее с горечью к тому, что в этих словах правда.

Александр вспоминает, как действительно слышал похожее от конюхов: не со зла, скорее для смеха, когда братья выезжали рядом на выучку – да, так и сказали, что непонятно, кто старший, коли оба равно под рукой у Якуна Моисеевича да у новгородского стола. Тогда он промолчал, посчитав это пустой болтовнёй челяди. Теперь видно, что брат эти слова носит в себе, как занозу, которую сам не вытащить.

– Ты старший, – говорит Александр осторожно. – Все это знают.

– Знают, да что с того? – Фёдор наконец смотрит на него, и в свете лучины лицо у него не злое, а какое-то растерянное, не по-братски взрослое и не по-взрослому детское сразу. – Старший сидит в Новгороде наравне с младшим, оба на поклоне у веча, оба ждут, покуда бояре решат, нужны мы им нынче или нет. Разве так старшинство выглядит?

Он подпирает голову рукой и говорит уже тише, будто сам себе, глядя в темноту за окном, где за ставнями шумит ветер с Волхова:

– Мне бы свой стол. Хоть бы самый худой, хоть бы в Торжке каком или в другом месте захудалом – лишь бы своей волей сидеть, а не на вечевом долготерпении. Чтобы не бояре мне кланялись через раз, когда им выгодно, а чтобы земля была моя, и дружина моя, и дань моя.

Александр хочет возразить и чувствует, что слова у него выходят слабее, чем он задумал, будто не вполне верит в них сам:

– Мы оба тут покуда гости. Хоть в Новгороде, хоть где. Отец решит, кому где сидеть.

Фёдор усмехается, но не зло:

– Вот то-то и оно. Решит отец. А я хочу, чтобы решалось мной, а не отцом.

Он замолкает, и в горнице становится слышно, как потрескивает лучина и где-то в сенях скрипит половица под чьими-то неспешными шагами – должно быть, холоп несёт дрова на ночь. Александр ждёт, не зная, стоит ли продолжать спор или оставить брата с его невысказанной обидой наедине.

Но Фёдор вдруг меняется в лице – так быстро, что Александр не сразу понимает, что случилось. Хмурость уходит, и брат наклоняется к нему через стол, понижая голос, будто боится, что их подслушают, хотя в горнице никого, кроме них двоих.

– Отец мне на Рождество обмолвился, – говорит он, и в голосе впервые за весь вечер не слышно ни обиды, ни бравады. – Будто подыскивает мне невесту. Не сказал, кого, не сказал, когда, а всё же сказал – пора, мол, тебе о своём доме думать, не только о мече.

Он произносит это так, как говорят о чём-то, во что боятся поверить до конца, чтобы не сглазить, и тут же улыбается – коротко, неловко, будто сам смущён этой улыбкой.

– Своя жена, свой двор когда-нибудь, – повторяет Фёдор почти шёпотом. – Это тебе не вечевой стол делить.

Александр смотрит на брата и видит в нём что-то новое – не того старшего, что сбивает его с ног на учебном дворе без злого умысла, а другого, которому просто хочется, чтобы его жизнь принадлежала ему самому хоть в чём-нибудь. И радость эта такая настоящая, что передаётся и Александру: он улыбается в ответ, искренне, и хлопает брата по плечу, как видел, что делают дружинники друг другу после удачной рубки.

– Дай бог тебе доброй невесты, – говорит он, и слова выходят у него теплее, чем все, что он говорил за весь вечер.

Фёдор смеётся, легко, без горечи, и толкает брата в плечо в ответ, уже по-прежнему, по-братски грубовато. Но когда смех стихает и Фёдор наклоняется поднять с пола упавшее писало, Александр задумывается: если у Фёдора будет свой двор, своя жена, свой стол где-то далеко, то кто останется здесь, в Новгороде, один на один с этим городом, что кланяется через раз, когда ему выгодно?

Он гонит эту мысль прочь, как гонят назойливую муху, и снова склоняется над своей дощечкой, дописывая недописанную строку псалма.

Весна 1232 года приходит в Новгород вместе с ледоходом на Волхове: лёд трогается с таким треском, что по ночам кажется, будто за стеной бьются мечами. На дворе Городища сходит снег, обнажая прошлогодний навоз и вытоптанную за зиму землю, и в этой грязи у коновязи сходятся двое отроков из младшей дружины – оба чуть старше Александра, оба уже с пушком над губой, которым так гордятся.

Спор выходит из пустяка: один привязал коня там, где обычно стоит конь другого. Голоса их поднимаются быстро, как вода в половодье, и вот уже один толкает другого в грудь, а второй хватается за ворот обидчика, и дружинники постарше, вместо того чтобы развести мальчишек, стоят кругом и посмеиваются, предвкушая потеху.

Фёдор подходит к месту первым, раздвигая зевак плечом, и Александр не отстаёт, хотя ему приходится протискиваться там, где брат проходит свободно.

– Будет вам, – говорит Фёдор, но не с тем, чтобы остановить, а чтобы навести порядок по своему разумению. – Коли спорите, кто прав, пусть руки решат. Кто кого на землю положит, тот и у коновязи хозяин. По рукам, что ли?

Отроки замолкают, но не от испуга, а оттого, что предложение им по нраву: драка, которую хотелось затеять самим, теперь дозволена старшим, да ещё и при свидетелях, значит честно. Один уже стаскивает с плеч кожух, другой сплёвывает в ладони, как видел у взрослых воев.

Александр смотрит на это и чувствует, как внутри поднимается что-то похожее на досаду, хотя он ещё не понял, на что именно досадует. Он вспоминает Якуна Моисеевича, который на учебном дворе не раз говорил, что кулак решает дело один раз, а назавтра дело снова надо решать. Вспоминает и отца – тихий голос за трапезой, слова про силу без расчёта.

– Погоди, Фёдор, – говорит он, и голос у него тоньше, чем ему хотелось бы, но останавливается не только брат, останавливаются и отроки, услышав в его тоне что-то, что заставляет прислушаться. – Положит один другого – так ведь не кончится. Проигравший завтра станет искать, с кем отыграться, да хоть бы и с победителем через месяц. А коновязь одна, и спорить об ней будут снова и снова.

Фёдор хмурится, скрестив руки:

– А ты что предложишь? Миром их разводить, как девок на посиделках?

– Жребий, – говорит Александр и сам удивляется, как ровно выходит это слово. – Пусть тянут соломинки. Кто вытянет долгую, тот и ставит коня у ближнего столба. Проигравший в обиде не будет: не брат его одолел и не кулак чужой, а воля Божья так легла. Спорить не с кем.

На дворе становится тихо, только где-то за частоколом перекликаются вороны, вернувшиеся на старые гнёзда с юга. Отроки переглядываются: один уже готов был лезть в драку, но слова про жребий и волю Божью отрезвляют его скорее, чем любой окрик. Проиграть кулаком – стыдно перед товарищами на долгие седмицы. Проиграть жребию – не стыдно вовсе, ибо жребий не разбирает, кто из них сильнее, а лишь исполняет чужую, высшую волю.

– Пусть так, – говорит первый, и видно, что ему самому легче на душе оттого, что драки не будет, хоть он и не признается в этом вслух.

– Пусть так, – повторяет второй, пожимая плечами с показным равнодушием.

Александр находит у коновязи две соломинки, ломает одну короче другой, зажимает в кулаке так, что торчат только ровные кончики, и протягивает отрокам. Те тянут по очереди, под взглядами уже десятка дружинников, стянувшихся к месту, где ждали потехи, а получили вместо неё странное, но действенное судилище. Короткую соломинку вытягивает тот, кто первым привязал коня не на своё место, и он, покраснев, но не возражая, отводит коня к дальнему столбу, бормоча что-то про то, что жребий есть жребий.

Один из старших дружинников, широкоплечий детина с изрубленной в прежних походах щекой, провожает Александра взглядом, когда тот отходит прочь, и хмыкает одобрительно, ни к кому вроде бы не обращаясь:

– Гляди-ка, мал, да удал на выдумки.

Фёдор идёт рядом, качая головой, и в голосе его больше удивления, чем насмешки, хотя он и пытается свести дело к шутке:

– Хитёр ты не по годам, брат. Я бы их так и стравил кулаками, дело привычное, да и скорее бы кончилось.

– Кончилось бы, да ненадолго, – отвечает Александр, и сам не сразу понимает, откуда в нём эта уверенность. – Назавтра снова бы сцепились, через месяц опять. А так – решили один раз, и дело забыто.

Фёдор не спорит, только хлопает брата по плечу тяжелее обычного, будто проверяя, не покачнётся ли тот, и Александр не покачивается. Он идёт дальше по двору, уже мокрому от талого снега, и думает про себя, повторяя почти отцовскими словами, что сила решает спор на сегодня, а расчёт – на все дни, что придут следом за сегодняшним.

Зима 1232-1233 года проходит спокойнее. Отец возвращается с полками, ходит на чудь, наказывает мятежные волости. Александра впервые берут в поход — не в сечу, конечно, а в обоз, чтобы "дышал воздухом". Он видит, как отец разговаривает с пленными старейшинами. Никаких криков, никакого стучания кулаком по столу, как на посадничьем дворе. Ярослав говорит тихо, задает вопросы, кивает. И старейшины сами развязывают пояса, отдавая серебро.

— Вот это, — говорит Ярослав сыну, когда они сидят у костра в шатре, — и есть расчёт. Мы могли бы сжечь их веси. И сожгли бы. Но через год они бы снова взялись за рогатины. А так — они платят, мы уходим, и они думают, что перехитрили нас. Пусть думают.

Александр кивает, хотя внутри всё ещё ворочается обида за бегство в 1229-м. Он начинает понимать: то, что он считал трусостью или слабостью отца, было просто... другим хватом меча.

Весна 1233 года приходит с запахом талого снега и известием, которое меняет воздух в палатах.

Фёдору почти пятнадцать. Возраст, в котором княжича уже не считают дитятей. Вести приходят не с гонцом, а с торговым обозом из Чернигова, который возвращается через Новгород в полуденные земли. Александр узнаёт об этом последним, как всегда бывает с главным в доме известием: сперва его слышат конюхи, потом дворня, потом Якун Моисеевич, и только после того братец сам находит его, перепрыгивая через недотаявшие лужи на дворе, с лицом, какого Александр у него раньше не видел, — не того показного превосходства, а какой-то растерянной, почти детской радости.

— Слыхал? — говорит Фёдор, и голос у него садится на середине слова, будто он сам не верит, что произносит это вслух.

— Слыхал, — отвечает Александр. — Невеста из Чернигова, бают.

— Из Чернигова, — повторяет Фёдор, и повторяет так, будто пробует слово на вкус. Он садится рядом с братом на бревно у коновязи, не замечая, что оно ещё влажное после утреннего дождя, и долго молчит, глядя куда-то за частокол, туда, где Волхов несёт мимо последний ноздреватый лёд. — Боюсь, — признаётся он вдруг, тихо, без всякой удали. — Невесты-то я сроду не видел. А ну как кривая да злая?

Александр чуть не смеётся, но сдерживается — брат не шутит, брат и вправду боится, и это пугает сильнее, чем если бы он бахвалился.

— Отец зря не сосватает, — говорит он вместо этого, подбирая слова так, как подбирал бы отцовские. — Он прежде десять раз взвесит, кому и с кем родниться, чем послов пошлёт. Фёдор кивает, будто и сам думал о том же, только стыдился сказать первым. Он впервые за долгие месяцы не напоминает брату, что тот младше на два года, не расправляет плечи, показывая разницу в росте, — просто сидит рядом, обычный четырнадцатилетний отрок, которому страшно и радостно разом. И Александру этот час кажется ценнее доброй дюжины воинских уроков Якуна.

На боярском дворе весть встречают иначе. Александр слышит разговор случайно, проходя мимо раскрытых дверей гридницы, где толстый боярин Житобуд, трясясь бородой, толкует соседу:

— Оно и ладно, что здесь свадьбу играть будут, а не в Переяславле. Ещё лишний повод Ярославу за сына нашу гостеприимность помнить. Да и Чернигов — родня не последняя, пригодится.

— Пригодится, пригодится, — скрипуче поддакивает другой, прищурившись. — Чем крепче в земле корни у княжат, тем сговорчивее отец их будет, коли город чего попросит.

Александр замирает за дверью, слушая, и отчётливо понимая то, о чём прежде только догадывался: для этих людей женитьба брата — не радость и не горе, а монета, которую можно положить на нужную чашу весов. Он уходит, не дослушав, с неприятным холодком где-то под рёбрами, но холодок этот быстро отступает перед суетой, охватившей весь двор.

Месяцы пролетают незаметно. Свадьба назначена на начало июня. Палаты готовят спешно — выметают углы, выносят на просушку шубы, пересчитывают утварь. Якун Моисеевич распоряжается всем этим сам, и Александр с удивлением слышит в его обычно жёстком голосе непривычную мягкость, когда тот велит дворне не ломать старую лавку у печи — на ней, мол, ещё отец Фёдора сиживал, пусть постоит для памяти.

Вечером Фёдор находит брата у лучины.

— Вот что, брат, — говорит он, и голос звучит почти торжественно. — Получу свой стол — а отец обещал, что получу, — заберу тебя к себе. Чтоб не сидел ты тут один среди этих бояр. Будем вместе, как и положено братьям.

Александр смотрит на него и понимает, что верит этому обещанию целиком, без остатка, как верят в детстве всему, что говорят старшие, — и от этой веры на душе становится светлее.

— Буду ждать, — отвечает он просто. Фёдор хлопает его по плечу, уже без обычной грубоватой силы, а мягче, по-братски, и уходит. Александр ложится на лавку, слушая, как за стеной хлопочет челядь, и засыпает легко, без привычных метаний.

За три дня до венчания Фёдор жалуется на ломоту в костях. Дворня решает — застудился. Якун велит растереть его гусиным салом. Александр смеётся вместе со всеми, но уже предчувствует неладное. К вечеру второго дня смех стихает. Жар не спадает, а крепнет. Приходит знахарка, шепчет наговор. Дым ест глаза, но жара не гонит.

Александр сидит у ложа ночами. Он держит руку брата — горячую, как уголь, — и понимает, насколько бессильна вся его наука. Меч можно поднять против меча, слово против слова, а против этого огня, пожирающего брата изнутри, нет ни хвата, ни стойки. Можно только сидеть и смотреть, как Фёдор сгорает.

На исходе третьего дня брат затихает. Дыхание делается редким, долгим, а потом однажды просто не возвращается.

Александр стоит у порога горницы и смотрит, как женщины обмывают тело. До свадьбы оставалось меньше седмицы. В доме, с утра пахнувшем воском, к ночи пахнет ладаном.

Отец приезжает на третий день — в одиночку, загнав коня. Ярослав входит в церковь к самому отпеванию. Александр, стоящий у гроба, впервые видит отцовское лицо таким — без собранности, что всегда держала черты. Отец смотрит на сына, и губы его шевелятся беззвучно. Александр видит человека, у которого подкашиваются колени.

После обряда Александр уходит в ту горницу, где они с Фёдором сидели над грамотами во время уроков слова божьего. Лавка брата стоит пустая. Он долго стоит в дверях, не решаясь войти. Вспоминает, как давным-давно они шли через вечевую площадь, и брат гонял ногой камешек, насвистывая, будто ему не страшно. Тогда Александру было стыдно признаться, что у самого под рёбрами всё холодеет. Теперь он жалеет — остро, до рези в груди, — что так и не сказал брату вслух простого: я тоже боюсь.

Отец находит его там же, в дверях.

— Завтра еду, — говорит он тихо, глядя на пустую лавку. — В Переяславле дела. Александр кивает. Отец кладёт руку ему на плечо — коротко, по-мужски. — Теперь ты один в ответе за этот город.

Слова входят в него медленно, как вода в плотную землю. Отныне этот груз, прежде деленный пополам хотя бы по видимости, лежит целиком на его плечах.

Назавтра отец уезжает затемно. Александр остаётся на Городище один. Бояре на следующий вечер присматриваются к нему новыми глазами: не с прежней снисходительностью к младшему при старшем, а с тем особым, оценивающим прищуром, каким смотрят на товар перед покупкой. Крепкий ли хозяин достался городу или удобная слабость? Александр ловит этот прищур, и обещает себе, что ни за что не уступит.

Глава 3. Первое слово князя

1235 год. Судная горница на Юрьевом подворье топится по-чёрному всю ночь, и к утру дым выходит в волоковое окошко, оставляя под низким потолком лёгкую серую дымку. Александр сидит за столом, где прежде сидел Якун, положив локти на доски, потемневшие от чернил. Семь лет — немалый срок: мальчишка, которого бояре привезли из Переяславля перепуганным, давно вытянулся, раздался в плечах. Над верхней губой пробивается первый жёсткий пушок, который он то и дело трогает пальцем, проверяя, не стал ли он наконец похож на мужчину. Голос у него ломается редко — больше по привычке, чем по надобности, — и он уже научился говорить так, чтобы тембр не дрожал, даже если внутри всё ещё дёргается жилка страха.

— Читай, — говорит он писцу, молодому дьячку с чернильными пятнами на рукавах. Дьячок разворачивает бересту, щурится на мелкие буквицы. — Спор о меже, княже. Сельце на Полисти. Один кричит — испокон веку его земля, другой — что ручей русло сменил, стало быть, и межа сдвинулась. Александр слушает, разглядывая закопчённую балку. Такие споры случаются после каждого разлива — вода не спрашивает, чья земля. — Пусть межу кладут по тому руслу, какое было до разлива, — говорит он. — Старики на погосте помнят. Спросить у них. А кто упрётся — на того пеню, в пользу Софии. Дьячок чиркает писалом. Прежде такое говорил бы за Александра пестун, косясь на мальчика. Теперь спрашивать некого: решение ложится на язык ровно и спокойно, как нога в привычное стремя. — Второе дело. Купец Онфим должен соседу гривну кун за невода, не отдаёт, говорит — отдал, да расписки не взял. — Без расписки долг не докажешь. Но пусть целуют крест оба, при свидетелях. Кто соврёт на кресте — тому вина вдвое тяжелее самого долга. Он произносит это так же легко, как прежде вызубренный урок, только теперь это его собственное слово, и оттого чувствует он себя похозяйски, уверенно.

Хватит на сегодня. Он отпускает дьячка и выходит в сени. У перехода стоят двое бояр, которых он прежде не встречал. Они не кланяются поспешно. Один, пониже, провожает Александра оценивающим прищуром, каким смотрят на коня, которого ещё предстоит решить, покупать или нет. Шум торга врывается в сени — не гомон, а крик с надрывом. У лабаза теснится десяток зевак. Два дюжих молодца обступили невысокого мужика.

— Двойная цена, сказано тебе! Не хочешь платить — лабаз затворим, а воск твой сгниёт! — Да где ж оно писано, двойную-то! Отец мой тут полвека торговал, всегда одну пошлину платил!

Александр замедляет шаг. Он выучился не соваться в каждую свару, но этот крик другой — в нём настоящий страх. Мужик замечает его и падает на колени прямо в раскисшую грязь.

— Княже, заступись! Гостята меня зовут. Люди Домаша Твердиславича двойную цену требуют! Говорят, через их пристань товар идёт. А отец мой сроду такого не плачивал!

Александр слушает, не перебивая. Важное: пристань — боярская, Домаш требует новую плату, пользуясь тем, что пристань — его.

— Грамоты у тебя есть? На пошлину старую? — Нету грамот, княже, из роду в род так повелось...

— А у Домаша на пристань грамота есть?

Гостята мнётся. Дело тёмное, где обычай против обычая. Александр чувствует, как внутри что-то подбирается, похожее на чувство перед тем, как сесть на необъезженного коня. Он мог бы отмахнуться — дело не княжье. Но что-то в этом воске на руках мужика не даёт пройти мимо.

— Вот что. Пока грамот не видел — слова на ветер не брошу. Погляжу, что на пристань писано. Тогда и решу.

— А лабаз-то...

— Пусть стоит затворённым. Два дня хватит? Гостята кивает часто-часто. Александр отворачивается и идёт прочь, чувствуя спиной взгляд купца — с надеждой, смешанной с недоверием.

Свеча оплывает в плошке. Александр придвигает ближе бересту и две пергаментные грамоты из владычного ларя. Грамота Домашева рода короткая: право брать пошлину с пристани у Волховского устья. Александр читает её дважды. И на второй раз видит то, чего не заметил сперва: грамота оговаривает сбор "с гостей заморских" и ни словом не упоминает новгородских купцов, каков есть Гостята. Он берёт вторую бересту: запись о тяжбах пятнадцатилетней давности. Отец Гостяты судился о той же пристани и выиграл, потому что судья разобрал то же самое различие. Значит, Домаш взял лишнее не по праву, а по безнаказанности.

Он откидывается на лавке. В голове всплывает стол в Переяславле, отцов голос. — Сила без расчёта — что меч без ножен, — говорил отец. — Обрежешься прежде, чем ударишь. А расчёт без силы — пустое слово. Александр тогда кивал из уважения. Теперь понимает: у него нет силы — ни дружины против боярского рода, ни веса в городе. У него есть пятнадцать лет, горница и вот эта береста, где чёрным по белому писано, что Домаш берёт не своё.

Выступить от своей воли? Сказать "не моги брать лишку"? Боярин усмехнётся, пошлёт за посадником, и тот напомнит князю, что город сам разбирает торговые дела. И будет прав. Но если выйти от имени грамоты, от старины, которую сам Домашев род подписал, — тогда дело другое. Тогда это не княжья прихоть, а правда, писанная задолго до его рождения, против которой возразить нечем, кроме как сжечь бумагу. А сжечь её поздно — копия в ларе, и все это знают. Александр улыбается уголком рта. Он сворачивает грамоту и зовёт отрока.

— Беги к владычному двору. Пусть завтра поутру на вечевом крыльце соберут тех, кто спорит о пристани. Домаша покличь особо. Дело разбирают при свидетелях.

Отрок уходит. Александр чувствует жёсткое спокойствие: он не прав по силе, зато прав по бумаге.

Утро выдаётся сырым. Вечевое крыльцо скользкое от ночного дождя. Александр, поднимаясь по ступеням, ставит ногу осторожно, чтобы не оступиться перед людьми — это было бы хуже всякого спора о пошлине. Собралось человек десять. Сам Домаш Твердиславич — впереди всех, широкий, как дверь в хлеву.

— Явился, стало быть, князь, — говорит Домаш, не кланяясь. — Погляди, рассуди, да и ступай с Богом, а мы своё заберём. Александр чувствует, как холодеет спина — от того, как спокойно, по-хозяйски этот человек говорит с ним, будто речь о телёнке.

— Пристань искони Домашева рода, — продолжает боярин. — Отец мой держал, дед держал. Гостята пусть платит, как все платят. Он смотрит на Александра как на подросшего щенка — вроде бы и вырос, а всё одно ни рыкнуть толком не может. Александр молчит долю мгновения. Потом достаёт грамоту и разворачивает её на колене. — Вот грамота. Писана о пристани. Тут сказано... Он находит строку и читает вслух, медленно: — "А мыт имати с гостей заморских... а с гостей новгородских мыта не имати". С заморских, — повторяет он и поднимает взгляд на Домаша. — Не с новгородских. Гостята — новгородец. Какое ж тут твоё право, боярин?

Над крыльцом повисает тишина недоумения. Домаш хмурится.

— Грамота грамотой, — хрипит он. — А обычай обычаем. Прежний князь в такие дела не мешался.

— Прежний князь, может, и не мешался, — отвечает Александр ровно. — А я — князь нынешний, и грамота эта в ларе у владычного писца лежит. Коли хочешь спорить — спорь с бумагой, а не со мной. Он сворачивает грамоту и произносит: — Мыт с Гостяты брать по

старине, как писано. Сверх того не брать, доколе не будет иной княжьей или вечевой воли. Тишина, которая падает на крыльцо, похожа на тишину перед ударом. Домаш стоит, тяжело дыша, и смотрит на Александра так, как смотрят на вещь, которую недооценили.

Домаш не уходит. Он идёт прямо к нему.

— Грамоту читать умеешь, — произносит боярин. Голос у него хриплый. — Не всякий посадник так разберёт. Иной за всю жизнь в ларь владычный носу не сунет, а ты, гляжу, читал не один раз. В этих словах нет похвалы. Это ощупывают — так ощупывают кошель. — Отец учил, что слово без грамоты — пустой звон, — отвечает Александр, не отводя взгляда. — А грамоту негоже прятать от того, кому по ней судить.

Домаш слушает, склонив голову набок, выжидая.

— Отец твой далеко. А ты тут один сидишь, за хлебом тянешься своей рукой. Это дело доброе. Город таких любит — покуда они крепко держат, что им держать велено, и не суют руку туда, куда не звали. Он произносит это легко, но Александр замечает, как цепко блестят глаза. Это уговор: держи своё, не трогай нашего.

— Пристань я не трогал, — отвечает Александр. — Я грамоту прочёл. Она моя, покуда я князь в Новгороде. Домаш хмыкает, коротко и глухо, и переступает с ноги на ногу — броня звякает. Он ещё раз окидывает Александра взглядом, прикидывая рост деревца.

— Поглядим, княже, поглядим. Город — не отцова вотчина, тут всякую руку сперва пробуют на вес. Он поворачивается и уходит. Александр смотрит вслед и понимает: он бросил камень в воду. Невелик камень — пошлина с купчишки. Но круги разойдутся. Домаш запомнит. Остальные бояре запомнят. И от этой мысли внутри делается не страшно — а тяжело.

Александр не успевает дойти до конюшен, как слышит быстрые шаги. Купец Гостята стоит в двух шагах. В руках у него корчажка с липовым мёдом.

— Княже... Прими. Из благодарности. Александр чувствует неловкость. Там, на крыльце, нужно было не дрогнуть. Здесь — мужик держит в руках свой достаток.

— Себе я не возьму, — говорит он. — Я не за мёд разбирал грамоту. Я за правду. Купец моргает, не зная, как принять отказ. — Отнеси дружине. Якуновым людям. Им мёд в самый раз к зиме, а мне чужого не надобно.

Это выходит у него само. Но едва слово сказано, он понимает: отказ не обидит купца, и всякий увидит — князь суд не продаёт. Гостята расцветает лицом и кланяется веселее.

— Дай Бог тебе здоровья.

Он уходит, и Александр провожает его взглядом. Назавтра эта корчажка будет стоять на дружинном столе, и Якун расскажет, почему князь не взял её себе. От этой мысли что-то внутри теплеет — удовлетворение человека, который сделал дело так, как оно того требовало.

С торга долетает гул. Александр стоит, оправляя сбрую, и слушает.

— ...а он грамоту прочёл, сам прочёл... — ...и Домашу слова поперёк не убоялся... — ...молодой ещё, а слово держит... Александр слушает этот гул так, как слушают дальний звон колокола. Тогда, семь лет назад, ему казалось, что город можно удержать только силой. Теперь он понимает: город держится не одним мечом. Он держится словом, которое сказано прямо и подтверждено бумагой. Мысль эта укладывается в нём, как камень в кладку стены. Александр чувствует, как расправляются плечи. Ему становится легко, почти весело — той лёгкостью, какая бывает после трудной работы, доведённой до конца.

И тут же, не дав радости отстояться, мимо проходит человек в добротном кафтане. Один из людей Домаша. Он идёт нарочито медленно и не кланяется. Ситуация длится мгновение, но внутри у Александра что-то гаснет. Он понимает: пока одни радуются его слову, другие уже отсчитывают, сколько ещё таких слов он осмелится сказать, прежде чем это станет неудобно.

Крыльцо подворья выходит на реку. Ночью Волхов живёт своей жизнью. Александр стоит, запахнув кожух, и слушает этот гул. День прошёл, а он всё ещё при нём. Домаш, грамота, тишина прикидки. Александр перебирает всё это заново, точно хозяин, проверяющий запоры.

Он понимает одно: сегодняшнее дело с пристанью не кончилось. Он бросил камень в воду. Домаш запомнит, остальные бояре запомнят по-своему. И от этой мысли делается не страшно — а тяжело, тем особым весом, который ложится на плечи один раз и больше уже не снимается.

Он отрывает взгляд от реки и смотрит в сторону горницы, где у стены стоит пустая лавка. Днём на ней лежат грамоты. Но сам Александр, проходя мимо, замирает: здесь сидел Фёдор, когда они, мальчишки, слушали отцовы наставления. Теперь лавка пуста, и некому дёрнуть за рукав и спросить шёпотом — ты как думаешь, правильно я сделал? — а после рассмеяться. Мысль эта приходит без слёз, усталой. Александр старший теперь не по праву первородства, а по тому, что брата нет. Он один на этой лавке, один в этой горнице — и решать теперь ему, и спрашивать не с кого, кроме себя. Он возвращается мыслью к Домашу, к его взгляду, в котором не было ни гнева, ни покорства — только расчёт. Город любит крепкую руку, покуда она не тянется туда, куда не звали. Эти слова Александр слышал весь вечер, и теперь, стоя на свежем воздухе, решает для себя твёрдо: пусть так. Пусть каждое слово будет взвешено не страхом перед боярским хрипом, а правом, которое можно положить на стол.

Где-то за частоколом взлаивает собака. Звук такой домашний, что на миг заслоняет и Домаша, и другие мысли. Но ненадолго. Александр ещё постоит, вслушиваясь в шум воды, потом поворачивается и идёт в сени — спать, хотя знает, что сон будет неспокойным, с грузом вместо лёгкости, и что груз этот теперь с ним надолго.

Ярослав Всеволодович приехал неожиданно, через несколько месяцев после случая с Домашем. Он вошел в горницу так, будто пришёл с соседнего двора, а не из Переяславля, и снял шапку привычным движением, не глядя по сторонам. За те годы, что он приезжает в Новгород наездами, то реже, то чаще, Александр научился различать его приезды по одному признаку: спешит отец или нет. Сейчас не спешит, хотя путь зимний, короткий день, а дорога такая, что лошадь, случается, по брюхо проваливается в наметённый снег там, где вчера ещё была торная колея.

– Садись, – говорит Ярослав Всеволодович, хотя садиться первым полагалось бы Александру как хозяину стола, и в этом нарушении чина нет никакой небрежности, просто отец устал с дороги и не намерен разводить церемонии там, где их некому видеть.

Александр садится напротив, на лавку, которую всё ещё по привычке зовёт про себя Фёдоровой, хотя вслух этого слова не произносит давно. Слуга приносит квас в оловянном кувшине, отец пьёт не торопясь, утирает усы рукавом и только после этого поднимает глаза на сына – долгим, оценивающим взглядом, каким смотрят на коня перед дальней дорогой: сдюжит ли.

– О делах городских спрашивать не буду, – говорит отец. – Писали мне. Знаю про пристань, знаю про Домаша. Верно рассудил, хотя и неспокойно теперь тебе спать будет.

Александр рад, что отец следит за его действиями, он может рассчитывать на помощь отцовской дружины, если что-то пойдет не так.

– Но ты увлекся управлением, погряз в местных дрязгах, не забывай, что нужна и сила. Без силы получишь унижение, пора обзаводиться своей дружиной.

Александр задумался о том, что отроки, приехавшие с ним в Новгород уже повзрослели, научились воинскому делу и им недостает только боевого опыта.

–Ты как всегда прав, отец. Ходят слухи о шевелении свеев в устье Невы, я займусь этим вопросом, вышлю разведчиков.

После отъезда Ярослава Всеволодовича, Александр. Возвращается к повседневным делам, но замечает за собой странность: мысль его, вместо того чтобы вертеться вокруг привычного — кто кому должен деньги, землю, имущество, — уже считает совсем иное. Сколько дружинников он сможет собрать, если ударит весть о врагах у границ новгородских земель завтра поутру. Сколько коней стоит под сёдлами наготове. Прежде такие числа ему и в голову

не приходили — он мерил город грамотами да спорными пристанями, а не бронёй и копьями. Теперь же эта мысль пришла сама, без спроса, и уже не желает уходить. И тут же другая мысль, холоднее первой: а что у него есть, помимо счёта? Дружина у него невелика. Часть — отцовские люди, присланные с ним из Переяславля. Старые волки. Якун Моисеевич держит их в ежовых рукавицах, они исполнят любой приказ, но Александр читает в их глазах то, чего боярин, кажется, не замечает: они служат князю Ярославу. Если завтра из Переяславля придет грамота с другим именем, эти люди соберут вещи за час и исчезнут, не обернувшись. Своей воинской славы и вовсе нет: наука Якуна, деревянные мечи детства — всё это добротно для учения, да не испытано кровью.

Он встаёт, подходит к окну — там, за слюдяным оконцем, темнеет уже совсем. Решение приходит не сразу, но приходит твёрдо: нужно понять, кто из тех, кто стоит за его плечом прямо сейчас, действительно его человек.

Он идет в дружинный дом. Дружинники, свободные от караула, коротают время у печи. Кто-то точит лезвие, кто-то дремлет. Александр проходит мимо, не глядя на них, но боковым зрением ловит взгляды. Большинство провожают глазами его фигуру — привычно, как мебель. Но двое молодых отроков, которых отец прислал в этом году "на выучку", смотрят иначе. Один, по имени Ставр, не дремлет, а смотрит на входную дверь с цепкостью молодого ястреба. Второй, рыжий Зван, не точит меч, а вырезает ножом что-то из куска липы — быстро, почти не глядя на руки.

Александр останавливается. Не ради строгости. Ради слова.

— Зван. Что режешь? — спрашивает он тихо. Отрок вздрагивает, прячет деревяшку за спину, краснеет так, что веснушки сливаются с лицом.

— Да пустое, княже. Ложка... кривая вышла.

Александр смотрит на его руки — быстрые, ловкие, не боящиеся работы — и на то, как он не отдал поделку, а спрятал. Не из страха, что отберут, а из стыда за плохую работу перед князем.

— Выходит криво, когда торопишься, — говорит Александр. — Дерево спешки не любит. Как и бой. Передохни. А то рука дрогнет, когда надобно будет не ложку, а шею врага резать. Он говорит это не как князь, а как старший товарищ, и видит, как изумление в глазах Звана сменяется чем-то другим — преданностью, которая стоит дороже месячного жалования.

Глава 4. Невеста из Полоцка

1238 год. Князь Ярослав Всеволодович снова в Новгороде. После пира в честь прибытия князя отец и сын остались вдвоем. Александр молчит, ждёт, что скажет отец, и дожидается быстро, без долгих подходов — отец не любит размазывать мысли по столу.

– Сговорился я с Брячиславом Полоцким, – говорит Ярослав Всеволодович. В его голосе нет тяжести горя, но нет и радости праздника. Голос ровный, как у казначея, подводящего итог. – Дочь у него. Возьмёшь в жёны.

Александру девятнадцатый год, и он давно уже не тот мальчишка, что переспрашивает отца, будто не расслышал. Он молчит, и в этом молчании умещается многое: и то, что он никогда не видел полоцкую княжну, и то, что имя её слышит впервые, и то, что где-то там, за Полоцком, лежит Литва, из года в год пробующая на зуб порубежные земли.

– Полоцк на Литву глядит, – продолжает отец, будто отвечая на вопрос, который сын не задал. – Брячислав один против неё не устоит, и Новгороду с Литвой тоже не разминуться вечно. Родство крепче мира на бумаге. Дашь слово – и щит у тебя с запада, хоть и не железный, да всё щит.

Александр кивает медленно, обдумывая не сказанное, а то, что стоит за сказанным. Слово "надо" в этом разговоре звучит отчётливо, хотя никто его вслух не произносит, а слово "хочу" не звучит вовсе. Александр ловит себя на том, что ищет его в себе и не находит — ни согласия, ни противления, только тяжесть вопроса, который прежде решали за него, а теперь решают через него. Будто он уже не отрок, которого можно поставить перед фактом, а муж, с которым этот факт нужно обсудить, хотя бы для вида.

– А коли не по сердцу придётся? – спрашивает он всё же, не удержавшись, и сам слышит, что вопрос звучит по-детски, не княжеским голосом.

Отец смотрит на него без усмешки, но и без осуждения.

– Помнишь, что я тебе говорил про войско без расчёта? – спрашивает отец. – Сила без расчёта – что копьё без древка, бить нечем. А расчёт без силы – унижение, кланяться без толку. С женитьбой то же самое выходит. По сердцу – дело доброе, да сердце не кормит дружину и не держит рубеж. Сердцем после обрастёт, коли Бог даст, а не обрастёт — так хоть дело сделано будет.

Александр слушает, и фраза эта, знакомая с детства, вдруг оборачивается новой стороной: прежде она касалась похода или суда на вече, а теперь — того, с кем он ляжет в одну постель. Мысль эта не пугает его и не радует, она просто укладывается рядом с прочими государственными делами, которые он привык взвешивать без надежды на то, чтобы они ему нравились.

– Добро, – говорит он коротко, не прибавляя ничего сверх этого слова.

Ярослав Всеволодович молчит мгновение, и Александр видит в отцовских глазах узнавание — так смотрят на свою же выучку, вернувшуюся обратно в виде чужого, повзрослевшего человека. Сам отец когда-то так же коротко согласился на мать Александра, и сейчас, глядя на сына, он будто заново проверяет себя тогдашнего — не ошибся ли, выбирая для сына ту же дорогу.

– Поезд соберём, как путь встанет санный, – говорит отец, принимая короткий ответ сына так же спокойно, как принял бы долгий спор. – Раньше снега не тронемся, после распутицы не успеем. На Крещенье, может, либо вскоре после.

– Добро, – повторяет Александр, и это второе "добро" звучит иначе, чем первое: не согласие на решение отца, а уже собственный расчёт, прикидка сроков, дружины и дороги, по которой предстоит вести поезд через земли, не все из которых дружелюбны к новгородскому князю.

Отец допивает квас, ставит кувшин на стол и впервые за весь разговор позволяет себе что-то похожее на улыбку.

– Хорошо отвечаешь, – говорит он. – Без лишних слов. – И, помолчав, прибавляет уже тише, не как князь князю, а как отец сыну: – Полоцкая кровь не хуже нашей. Поживёшь — увидишь.

Александр не отвечает, лишь наклоняет голову. Разговор заканчивается так же просто, как начался, без клятв и уговоров, без слова "люблю" или "хочу" в применении к будущей жене. Здесь им попросту не место. Есть щит, который нужен с запада, и есть сын, который должен этим щитом стать.

Зима 1238-1239 года. Обоз выходит из Новгорода на другой день после Крещенья, когда лёд на Волхове уже держит гружёные сани. Поезд растягивается длинной цепью: впереди конная дружина, за ней сани с поклажей, дальше кованые лары с дарами, позади — сани бояр-свидетелей. Кони пофыркивают паром, полозья скрипят на укатанном снегу так ровно, что через час пути этот скрип перестаёшь замечать. Александр едет верхом, хотя мог бы кутаться в санях. Верхом виднее, а виднее — значит спокойнее. Он прикидывает путь так же, как перед походом на чудь: где кормить лошадей, где менять сани. Привычка эта въелась в него глубже, чем он думал, и он с лёгким удивлением ловит себя на том, что свадебный поезд в его голове разложен теми же числами, что и военный обоз. Только вместо стрел в телегах везут бобра и куницу, а впереди ждёт не победа, а молодая жена. "Главное, — думает он, — чтобы невеста оказалась не тяжелее сундука с серебром, а то кони до Торопца не дотянут". На первой ночёвке в придорожном погосте бояре располагаются у своего костра.

– Полоцк – щит добрый, – говорит кто-то негромко, – да щит о двух сторонах. Нынче Литва жмёт на Брячислава, а завтра, глядишь, через родство и Новгороду та же забота достанется.

– А кабы не жала Литва, – отвечает другой, – так и не сговорились бы отцы так скоро.

– Ко времени вышло, – поправляет третий, и в голосе его слышится зависть, – да только сила-то через это родство прибудет не одному Полоцку.

Александр сидит у своего огня, разбирая с дружинником упряжь, и слышит каждое слово. Пусть судачат. Бояре всегда судачат, когда князь делает шаг, который можно истолковать двояко, а уж женитьба на полоцкой княжне толкуется двояко легче, чем любой указ о сборе податей. Мороз держится крепкий, короткий зимний день не прощает промедления. Александр торопит обоз не потому, что ему не терпится, а потому что иначе придётся ночевать в чистом поле.

Невеста в Полоцке ждёт не их удобства — ждёт срока, который назначили отцы. На третий день пути, за Ловатью, когда дорога ныряет в еловый лес, Александр ловит себя на мысли, от которой сам чуть не придерживает коня. Он ни разу — ни когда отец говорил о сватовстве, ни после, перебирая вёрсты, — не спросил, какова она собой. Иные молодцы в его годы извелись бы от любопытства, а он прикидывал вёрсты так же спокойно, как если бы вёз в Полоцк посольскую грамоту, а не себя самого. Он пробует устыдиться этого спокойствия и не находит в себе стыда. Есть щит, который нужен с западе, и есть он сам, которому надлежит этим щитом стать. Какова собой женщина у венца — дело десятое против того, что брак скрепит рубеж. Александр трогает коня, думая уже не про невесту, а про то, что к вечеру надобно будет перековать одну из лошадей, иначе до Полоцка она попросту не дойдет.

Горница Брячислава топлена жарко, и после мороза Александра бросает в пот. Стол невелик, никакого пира не затевают: дело не праздничное, дело рядное. Брячислав сидит по одну сторону стола, сам разливает мёд — князь привык обходиться без лишних глаз. Лицо у полоцкого князя обветренное, в морщинах не от старости, а от дела. Смотрит он на Александра так, как смотрят на коня перед покупкой.

– Садись, – говорит Брячислав, – да не как гость, а как родич будущий. Нам с тобой о дружине говорить.

Александр садится и ждёт. Он научился за эти годы одному: тот, кто первым начинает торг словами, уже отдал половину цены.

– Литва жмёт, – говорит Брячислав без околичностей. – Прошлым летом два погоста пожгли. У меня дружины на все рубежи недостанет.

– У Новгорода те же соседи, – говорит Александр. – Только у нас с другого бока ещё шведы да немцы на Неве зарятся.

– Оттого и сговорились с отцом твоим, – кивает Брячислав. – Тебе тесть нужен с дружиной на западе, мне — родство с Новгородом.

Он говорит про приданое прямо, по-хозяйски. Александр слушает, не перебивая, и замечает в себе то, чего не было бы ещё три года назад: ни робости, ни желания поскорее согласиться. Цифры укладываются в памяти сами, как счета подати с купеческих дворов. – А со своей стороны что скажешь? – спрашивает Брячислав.

– Новгород не обеднеет честью такого родства, – говорит Александр. – Дружину за женой дам охранную. А после — коли понадобится Полоцку подмога против Литвы, пришлю, что смогу, не дожидаясь второго гонца.

Он произносит это коротко, и видит, как Брячислав чуть прищуривается — не от недоверия, а от удивления. Александр узнаёт этот взгляд: так же смотрели на него бояре в новгороде, когда он решал споры.

– Молод ты, а не вертишься, – говорит наконец Брячислав и усмехается. – Отец твой такой же был в твои годы.

– Отец учил, что слово короткое дороже длинного, – отвечает Александр, и Брячислав смеётся в голос.

– Твоя правда. Ну, а теперь о месте сговоримся. В Полоцке играть свадьбу несподручно. Есть город промеж нас — Торопец. И тебе ближе, и мне не дальше. Там и повенчаетесь.

Александр кивает. Торопец так Торопец — город невелик, но стоит на дороге, которой не раз уже меряна его собственная жизнь. На половине пути, как и подобает делу, которое двое отцов слепили не ради любви.

– Пусть будет Торопец, – говорит он.

Брячислав, довольный сговором, ведёт его через сени сам.

– Погляди, каков у меня товар, – говорит он с усмешкой, в которой нет обиды дочери, только отцовская гордость. – Хотя что глядеть, сговор не на красоту писан.

В светлице у слюдяного окошка стоит девушка. Высокая — выше, чем Александр ожидал, почти вровень с ним, — в тёмно-вишнёвом летнике. Она не вздрагивает, не отводит взгляда. Смотрит прямо, спокойно, будто давно знала, что этот час придёт.

– Александра, – говорит Брячислав, – вот жених твой. Она склоняет голову ровно настолько, насколько велит обычай, и Александр ловит себя на мысли, что в этом поклоне нет ни покорности, ни страха, одна лишь вежливость.

– Будь здрав, князь Александр Ярославич, – говорит она.

– И ты будь здрава, Александра Брячиславна, – отвечает он, и собственный голос кажется ему чужим в этой горнице.

Больше обычай ничем не разрешает обменяться. Брячислав уже поворачивается, зовёт боярыню, и на миг в светлице остаются только двое.

– Устал с дороги, князь? – спрашивает вдруг Александра.

Вопрос застает врасплох. Его спрашивали о многом: исправен ли путь, довольна ли дружина. Его не спрашивали, устал ли он сам.

– Устал, – говорит он коротко, и сам удивляется, зачем ответил правду.

– Видно по глазам, – говорит она просто. – У отца моего так же смотрели воеводы, когда с Литвой всю ночь бились.

Александр молчит. Его сравнили с воеводой после битвы, не с женихом после сговора.

– Бился я пока что больше с боярами за пошлины, – говорит он наконец, и в голосе его против воли прорывается усмешка, – не с Литвой.

– Значит, ещё впереди, – отвечает Александра.

Брячислав возвращается, и разговор обрывается. Александр кланяется — так же ровно, как кланялась она, — и выходит, оставляя девушку у окна. В сенях холоднее, и Александр слушает вполуха, занятый совсем другим. Не союзом думает он, не Литвой, не серебром — а тем взглядом, который не бегал и не прятался, и тем вопросом, за который не полагалось никакой награды. Он привык, что на него смотрят и считают: бояре — силу, Брячислав — пользу, отец — выучку. Эта женщина, кажется, увидела усталость раньше титула, и от этого на душе становится и тревожно, и странно легко разом.

Торопецкая церковь мала для такого стечения людей. Тесно набились бояре: новгородские — слева, полоцкие — справа, переяславские жмутся к отцу. Три земли сошлись под одной крышей ради двух человек, и

Александр стоит в алтаре, чувствуя, как под праздничным алым корзном по спине бежит холодный пот. Он привык к запаху конского пота, железа и сырой земли, а здесь воздух густой, сладкий от ладана и воска, и кажется, что в нём можно задохнуться.

Когда хор начинает петь "Слава Тебе, Боже наш", он косится вбок. Александра Полоцкая стоит рядом — тонкая, почти прозрачная в жемчужном очелье и тяжелом венце. Ей пятнадцать, ему — почти девятнадцать (он уже взрослый муж, но сам он чувствует себя котёнком, которого бросили в глубокий колодец). Она не плачет и не дрожит, как положено юной невесте, а смотрит прямо перед собой с тем же спокойным, чуть отстранённым любопытством, с каким сам Александр разглядывал берестяные грамоты.

Александр с неожиданной ясностью понимает: не он и не она здесь главные. Венчают не людей. Венчают границу. Священник ведёт службу неспешно. Александр держит руку Александры — и ловит себя на том, что сжимает её крепче, чем велит обряд. Не крепко до боли, но ощутимо, словно боится, что без этого она ускользнёт, растворится в дыме, станет снова просто именем в отцовской грамоте.

Она не отнимает руки. Ярослав Всеволодович стоит среди свидетелей, и Александр, оборачиваясь, встречается с ним глазами. Отец немолод, в бороде седины больше, чем помнилось, но стоит прямо. Во взгляде его нет слезливой радости. Есть удовлетворение мастера, который всадил гвоздь туда, куда метил. Для Ярослава это не свадьба. Это сделанное дело, звено в цепи — и Александр вдруг понимает, что сам смотрит на собственную жизнь так же, отцовскими глазами.

Священник, старик с дребезжащим голосом, спрашивает их о согласии. Александр выдавливает сиплое "Да".

Когда венцы снимают, и они выходят на паперть, солнце бьет в глаза. Площадь перед церковью запружена народом. Торопчане — народ торговый, глазастый и языкастый — уже оценивают княгиню.

— Тощевата, — бубнит кто-то в толпе совсем рядом, не стесняясь. — У отца-то, сказывают, в Полоцке телеса поболе были. Эту ж ветром шатает.

Александр, который как раз в этот момент пытался незаметно почесать нос, замирает. Кровь бросается в лицо. Он стоит на ступенях храма, красный, как варёный рак, потому что какой-то чумазый сапожник посмел оценить зад его жены.

Он ищет глазами Якуна. Тот стоит в первом ряду бояр, лицо каменное, но уголок рта едва заметно дергается. Александр впервые за день позволяет себе выдохнуть. Если Якун улыбается, значит, небо не упало на землю.

После венчания — пир в тесных хоромах наместника. Бояре поднимаются один за другим, и тосты их звучат не столько за молодых, сколько за дело. Полоцкий боярин желает, чтобы "от сего союза Литве впредь неповадно было", и ему вторят новгородские голоса. За счастье двоих поднимают чашу едва ли не вскользь. Александр слушает эти здравицы и не чувствует обиды, но краем глаза замечает, как на лице Александры на миг проступает усмешка. Видно, и она понимает цену произносимых слов.

Поздним вечером, когда шум стихает, они остаются наедине.

– Ну вот, – говорит Александр, не зная, с чего начать. – Сговорились отцы, обвенчали нас — а мы друг другу и не сказали почти ничего.

– Сказали, – отвечает Александра спокойно, усаживаясь у печи. – Ты сказал мне, что устал. Я сказала тебе про воевод отцовских. По нынешним временам это немало. Александр невольно усмехается — она умеет повернуть разговор так, что спорить не с чем.

– Немало, да не всё, – говорит он. – Наперёд не узнаешь человека за один вечер.

– И не надо наперёд, – отвечает она. – Узнаем по дороге, какая выпадет. Отец мой говорил: хороший брак, как хорошая дружина, — не сразу сколачивается, а в деле проверяется.

– Отец мой говорил похожее про силу и расчёт, – произносит Александр тише, и сам удивляется, что делится этим с ней. Александра молчит, глядя на огонь, и Александр понимает: не из равнодушия молчит, а из той же осторожности. Так и сидят они недолго, уже не чужие вовсе.

Городище встречает их серым низким небом. Челядь кланяется по чину, бояре снимают шапки, но что-то в этих поклонах короче, суше. Три недели назад его провожали с показным почтением. Теперь встречают с прищуром — только уже не пустого, а женатого князя, у которого за спиной стоит полоцкий тесть.

Александра выходит из возка и оглядывает двор спокойно, без суетливого любопытства. Александр ловит себя на мысли, что город для неё сейчас — чужая грамота, которую она пробует прочесть.

Пир в честь возвращения собирают в тот же вечер. Бояре встают один за другим, славят молодую княгиню, желают наследников — и всё это громко, с таким усердием, что Александр невольно вспоминает: громче всего кланяются те, кто после кланяться не любит. – За Полоцк! – выкрикивает кто-то. – За силу, что пришла к нам с запада! Слово "сила" повисает в воздухе. Александр отпивает мёду и слышит, как сосед говорит вполголоса: "породнился-то крепко", а в ответ слышится сухой смешок: "крепко, да нам ли радоваться". Он не оборачивается. Три года назад он бы обернулся. Теперь знает и так.

Среди гостей Александр находит взглядом тяжёлое лицо Домаша Твердиславича. Тот поднимает чашу, но смотрит не на Александра. Смотрит на Александру. Тот же взгляд, что был тогда над спорной грамотой: оценивающий, взвешивающий. Только тогда боярин прикидывал силу молодого князя, а теперь — чего ждать от родства с Полоцком. Александр выдерживает этот взгляд долю мгновения, потом отворачивается первым — не из робости, а потому что знает: отвечать взглядом на взгляд при всём столе — значит признать, что встревожился.

Александра наклоняется чуть ближе.

– Что за человек там, у края? – спрашивает она тихо. – Бритая голова, брони не снял. Смотрит так, будто не на пир пришёл, а дело считает.

Александр усмехается её точности.

– Домаш Твердиславич. Из тех, кто в Новгороде не последний голос. Любит, чтобы всё по старине было. Я с ним спорил постоянно, судил не в его пользу.

– И кто берет верх?

– Я, – говорит Александр и сам слышит, как сухо это звучит. – Да ему, видно, не впрок пошло.

Александра переводит взгляд на боярина, и в этом движении столько нарочитого равнодушия, что оно красноречивее всякого слова.

– Он не на меня смотрел, – говорит она. – Он на то, что я с собой привезла. На родню, на дружину.

Александр молчит, подбирая ответ.

– Новгород привык решать сам, кого звать, кого гнать, – говорит он наконец. – А тут вдруг у князя за спиной не только дружина отцова, но и полоцкая родня встала. Иным это по нраву, иным — нет. Не бери в сердце, это дела боярские.

Александра кивает, хотя по складке у губ видно: она не вполне поверила. Александр поднимает чашу и думает, что свадьба оборачивается не концом игры, а началом новой расстановки — только теперь ставка выросла, и имя ей — Полоцкое княжество.

Зима 1239-1240 года ложится на Новгород рано. Вместе с первым настом на Александра наваливаются тяжбы о земле, спор ладожан с готландским гостем о порченом воске. На всё это уходит день, а на вечер остаётся то, что остаётся всегда, — немного. Он возвращается на Городище затемно, скидывает плащ и не сразу замечает, что Александра уже не встаёт ему навстречу, а просто смотрит, сидя у стола с веретеном.

– Опять с ладожанами бранился? – спрашивает она.

– С готландцем, – отвечает Александр, садясь напротив. – Воск у него подмочен, а он кричит, что продал честно. Насилу развели.

– Ты не ешь второй день путём, – говорит она. – Дарья сказывала, кашу вчера унесли нетронутой.

Александр хочет сказать, что недосуг, но вместо этого просто молчит, глядя, как она наливает ему квасу сама. От кваса пахнет ржаным хлебом и чем-то смутно домашним.

– Устал, – говорит он наконец. Александра не удивляется — только кивает.

– Боярам этого не скажешь, – говорит она.

– Боярам нужен князь, а не отрок усталый, – отвечает Александр. – Если я сяду перед ними и скажу "не могу", — завтра скажут: пусть иной сядет, кто сможет.

– Понимаю, – говорит Александра. В этом "понимаю" больше, чем в иных долгих речах. Она не спрашивает, тяжело ли ему — она просто сидит рядом, и от этого почему-то легче. Они говорят недолго — о том, что печь дымит, что в амбаре мыши завелись. Александр слушает это с удовольствием, какого прежде не знал: разговор ни о мыте, ни о шведах, а просто о доме.

– Ты не спросила ни разу, – говорит он вдруг, – отчего я молчу за столом при боярах.

– Спрашивала бы, если б не видела, – отвечает Александра. – Ты не сердишься. Ты бережёшься. Там, где скажешь лишнее слово, после не соберёшь.

Александр долго молчит.

– Отец женил меня по расчёту, – говорит он тихо. – Литва, рубежи, твой отец искал зятя не слабее себя. Я думал, этим расчёт и кончится.

– А вышло иначе? – спрашивает Александра.

– Вышло, что я жду этих вечеров, – отвечает Александр и сам слышит, как непривычно звучит это признание.

Александра берёт его ладонь обеими руками, не как жена для вида, а просто, как берут что-то тяжёлое. Свеча трещит, и Александр думает, что отец, сговариваясь о браке ради щита, верно, не рассчитывал того, что получается в этой тишине — а если бы знал, сказал бы, что это не худший довесок к удачной сделке.

Утро после Крещенья выдаётся ясным и злым. Александр возвращается с Городища и застаёт жену в светлице — она сидит у окна с шитьём, но игла замерла.

– Сядь, – говорит она. Александр садится, не снимая шубы. – Я понесла, – говорит Александра просто. – К осени, думаю, разрешусь.

Александр слышит слова и не сразу понимает их целиком. Он смотрит на жену и чувствует, как внутри поднимается что-то горячее и неуклюжее.

– Точно? – спрашивает он, и сам слышит, как глупо это звучит.

– Повитуха не ошибается, – отвечает Александра, и в уголках её губ появляется усмешка

– Ты бы хоть обрадовался, князь, а не щупал меня взглядом, будто проверяешь обоз перед походом.

Александр смеётся — коротко, непривычно, и тянется взять её руку.

– Радуюсь, – говорит он наконец, неловко, как мальчишка. – Только не знаю, как это сказать так, чтобы было похоже на радость, а не на доклад тысяцкому.

Александра смеётся тихо и кладёт его ладонь себе на живот.

– Это и есть радость, – говорит она. – Не всякая радость кричит.

Александр сидит так долго, чувствуя под ладонью тепло, и думает, что вот сейчас кончается что-то в нём самом. Теперь на нём не только Новгород с его вечевым криком, не только отцовский расчёт насчёт Литвы, а ещё и этот ребёнок, и жена, сидящая рядом с таким спокойствием.

Радость эта длится недолго — через час в сени входит гридь с Ладожской дороги. Он докладывает: у устья Невы видели чужих людей, не торговцев. Местные говорят про шведский говор. Александр слушает доклад стоя и чувствует, как радость утра сворачивается где-то внутри, уступая место привычной тяжести. Он отпускает гридя, велев снарядить людей к морю, и долго стоит у оконца. Александра входит следом, уже без весёлости.

– Что там? – спрашивает она.

– Пока ничего, – отвечает Александр. – Слухи. Но слухи такие не рождаются из ничего.

Он смотрит на её руки, сложенные поверх живота, и впервые понимает со всей ясностью, что беречь теперь придётся не только отцовский расчёт с Полоцком. Придётся беречь и её, и то, что в ней началось этой зимой, а от кого беречь — паруса у устья Невы, кажется, уже подсказывают сами.

Глава 5. Паруса на Неве

Июльское утро 1240 года. На Городище пахнет свежескошенным сеном и дёгтем — где-то за амбарами мужики смолят новую телегу, и ветер с Волхова разносит этот дух вперемешку с речной сыростью. Солнце ещё не поднялось высоко, но уже печёт загривок, и Александр, сидя на крыльце тиунской избы, то и дело смахивает со лба пот. Перед ним на колене — вощёная дощечка, на которой тиун, человек сухой и дотошный, только что процарапал стилом ряд чёрточек.

— Триста копен с заборья свезли, княже, — говорит он, щурясь на солнце. — Да ещё сотню обещают с Ракомы. На зиму дружинным лошадям хватит, а по весне, если Бог даст, прикупим у ильменских.

— Хватит, — повторяет Александр, не столько тиуну, сколько себе, и думает о том, что считать сено в разгар лета — дело скучное, но нужное: зима спросит с них этот счёт строже всякого боярина.

Он ещё не успевает дописать пометку о цене — за копну просят дёшево, сенокос нынче удался, — когда со стороны ворот доносится дробный топот. Во двор влетает конь, покрытый пеной так, что ноги у него кажутся серыми. Всадник валится с седла и падает на одно колено прямо в пыль, хватая ртом воздух.

— К тебе, княже… с Ижоры… — выговаривает он, прежде чем отдышаться, и Александр уже встаёт, роняя дощечку на ступени.

Это Яким, пожилой вой из тех, кого он сам весной послал на ижорский рубеж — проверить, донесения местных жителей про чужие паруса. Теперь по его лицу, серому от пыли, по трясущимся рукам Александр понимает: не померещилось.

— Говори, — велит он, и голос выходит жёстче, чем он сам ожидал.

— Встали, княже, у устья Невы, где Ижора впадает, — Яким мотает головой, и слова идут неровно. — Корабли подошли, шатры ставят, коней выводят на берег… люду много, не сочтёшь.

— Сколько кораблей?

Яким мнётся, смотрит в сторону, будто стыдится.

— Разное говорят, княже. Кто сказывает — десятка три, кто и поболее. Я сам не считал, не до того было — едва ноги унёс, чуть на дозор ихний не напоролся.

— А воинство какое? Конное, пешее?

— И конное есть, и пешее. Доспех крепкий, щиты круглые да долгие. Говор не наш — где по-свейски, где немцы. А иных, слышал, епископ ихний с собой привёз, попы латинские с крестами.

Александр слушает, не перебивая, и перед глазами у него вместо двора с пыльной дощечкой встаёт другое: устье Невы — широкое, пологое, удобное для высадки, а оттуда до Ладоги — рукой подать. Это не разбойный налёт за добычей — за такими не везут епископов и не ставят шатров надолго. Это войско, пришедшее стать на земле. На миг в памяти всплывает тихая светлица, тепло под ладонью сквозь ткань летника, спокойный голос жены — всё то, что он оставил дома меньше часа назад. Мысль эта гаснет так же быстро, уступая место другой, холодной: каждый день, пока он медлит, шведы укрепляются на берегу. Ждать, пока соберётся большое вече, пока бояре наспорятся вдосталь, — значит отдать шведам ещё седмицу. А седмица на войне — не то же самое, что седмица в счёте сена.

— Онфим! — окликает он отрока. — Коня мне. И пошли по дворам — зови на Ярославово подворье, в гридницу, бояр и голов дружинных. Немедля.

Он смотрит на Якима, всё ещё стоящего на колене, и впервые за это утро голос его звучит не как у человека, который считает копны.

— Воды ему, — говорит он холопам, — и накормить. А после пусть ещё раз всё расскажет боярам.

Сам же Александр сходит с крыльца, оставляя забытую дощечку лежать на ступенях, и выходит со двора через калитку, какую обычно используют для хозяйственных дел. Ему нужно пройти Новгород пешком, пока город ещё не знает, что через несколько часов загудит, как растревоженный улей.

Улицы к полудню уже горячи, пыль висит сухим облаком. Июль в этом году сухой, Волхов обмелел. Город не знает ничего. Баба торгуется с рыбником, мальчишка тащит козлёнка, у кузни слышен звон молота. Старик сидит на завалинке, перебирает чётки. Ничего не подозревающий город. Александр идёт сквозь него. Все эти встреченные им люди уверены, что день пройдёт, как вчерашний. Он идёт и в голове его складывается счёт — не сена теперь, а людей и дней.

По прикидкам: у него под рукой дружина княжеская, не больше полутораста мечей, да гридь при посаднике, да охочие молодцы. Если собирать городское ополчение — пройдёт седмица. А шведы тем часом срубят городки. Бить нужно, пока враг в движении. Это и есть расчёт, думает он. Отцовский расчёт, применённый к своему делу. На миг проступает другое — Александра Брячиславна на сносях, и мысль о том, что он может не вернуться к сроку, царапает под рёбрами. Он гонит эту мысль прочь. Не время.

У ворот Ярославова двора он на миг останавливается. За ними собрались бояре, которых успел созвать Онфим. Он знает наперёд, что среди них будут и такие, кто захочет сперва послать за подтверждением, а после созвать вече, а после ещё поспорить. Александр переводит дыхание, и лицо само собирает себя в то выражение, с каким выходят к спорщикам. Он проходит в терем, там тоже уже собрались люди.

В гриднице тесно и жарко. Десятка три бояр встречают его поднявшимися глазами. Ближе всех сидит посадник, бритая голова блестит от пота, а лицо спокойное, будто он сам сюда пришёл по важному делу.

— Ну, князь, — говорит посадник хрипло, не вставая, — сказывай, чего ради людей сорвал.

Александр говорит коротко: шведы вошли в Неву, стали лагерем у Ижоры. Он не прибавляет лишнего — число судов всё равно никто толком не знает. Говорит и смотрит, как по лицам бежит тень.

— Дело общее, — говорит посадник, когда Александр замолкает. — Не одному князю решать. Бить в колокол, собирать вече — как от века заведено.

Голоса одобрительно гудят.

— Пока вече соберётся, пока концы сговорятся, — говорит Александр, — пройдёт седмица. А шведы тем часом не сидят сложа руки. Чем дольше мы думаем, тем крепче они становятся.

— А ты, значит, сам всё решил, — хрипит посадник, и в голосе его что-то похожее на усмешку. — Пока мы тут думаем, ты уже поход назначил?

— Я назначил сбор, — отвечает Александр ровно. — Советоваться можно и на ходу. Стоять на месте, покуда враг окапывается, — не совет, а потеря времени.

Поднимается ещё один голос, боярин постарше:

— Князь, ты пойми: без согласия города дело оборачивается не только твоей головой. Обернётся бедой — спросят со стола твоего.

Александр слышит в этом не заботу о нём — заботу о порядке. Он знает этот счёт наизусть и отвечает так же коротко:

— Пойду своей дружиной. С теми, кто захочет пристать охотой, — возьму всех. Ждать созыва не стану ни часа лишнего.

Слова падают в духоту и гасят шум. Посадник не отводит глаз — он смотрит на Александра прямо, прищурившись, будто меряет: до какого предела дотянется эта воля.

—Твоя воля, князь, — говорит он наконец. — Только помни: вода камень точит не силой, а терпением. Спешка до добра редко доводит.

— Спешка нынче — это не торопливость, — отвечает Александр. — Это необходимость. Он не ждёт ответа. Поворачивается к головам дружины.

На дворе уже свистят гонцы. Александр отдаёт приказ Гавриле Олексичу — одному из самых отчаянных своих бояр, чья голова уже не раз оценивалась врагами в немалые деньги, и тот, не дожидаясь, пока договорят последнее слово, бежит седлать, выкрикивая на ходу имена: кому скакать на Рогатицу, кому в Неревский конец, кому за реку, к головам сотен. Слова летят короткие, без прикрас: — Коня, бронь, хлеба и солонины на пять дней — и в путь. Телег не брать, обозных — тем паче. Кто замешкается — тот в поход не пойдёт.

Он сам не замечает, как говорит приказом. Пять дней пути он прикинул ещё в гриднице: больше брать нельзя, меньше — рискованно, а обоз свяжет ноги. Не успевает он отойти от крыльца, как во двор протискиваются трое — двое в кольчугах не по росту, третий простоволосый, в одной рубахе. Александр узнаёт среднего — сын Чернорецкого сотника. Парень выпаливает сам, задыхаясь:

— Князь, веди и нас. Вече не собрано, да только нам до слова дела нет. Хотим идти охотой.

Александр смотрит на них — безусых, с чужими доспехами. Он мог бы отправить их домой, но время не ждёт.

— Кони есть? — спрашивает он коротко. — Найдём, — отвечает за всех средний.

— Тогда в строй. И не отставать — дружина не нянька, за руку водить не будет.

Парни кланяются неловко, радостно, и бегут прочь. Александр смотрит им вслед и чувствует странное тепло пополам с холодом: вот она, сила, что приходит сама, но сколько таких наберётся — десяток, два? Этого мало.

К обеду он идёт к Софии. Под сводами прохладно, пахнет воском. Владыка Спиридон встречает его у амвона:

— Идёшь не ради славы, князь, ради земли. Бог по правде идущих не оставляет.

Он осеняет Александра крестом, и тот стоит, склонив голову, чувствуя на плечах не только тяжесть кольчуги, но что-то ещё — то ли ответственность, то ли благословение. За спиной крестятся дружинники. Александр ловит себя на мысли, что молится не за успех похода, а за то, чтобы хватило сил не сробеть.

Выйдя наружу, он щурится от света. С Волхова тянет рыбой и смолой: у пристани грузят ладьи. Гребцы переговариваются вполголоса, кто-то поминает недобрым словом жару — грести в такую духоту хуже, чем в мороз. Александр знает: путь водой быстрее, только вот после зим, проведённых на полозьях, глаз ещё не свыкся с этой картиной.

Он стоит на берегу, пока последние телеги подвозят припас, и считает — не вслух, про себя, — сколько людей выходит под его руку. Дружина своя, десятка три охотников, горстка младших бояр. Выходит меньше сотни. С ополчением всех пяти концов вышло бы впятеро больше — да ополчение ещё собирать седмицу. От этой мысли ему становится не по себе. Не враг страшит его — страшит собственная малость. Но отступать поздно: слово сказано боярам, слово дано дружине. Остаётся одно — вести тех, кто есть. оборачивается на миг к городу — к маковкам Софии, к стенам детинца. Город стоит, не ведая, чем кончится этот поход, а он уже знает: обратной дороги нет.

Светлица пахнет воском и сухой травой. Александр входит, когда дружинник уже принёс броню, но прогоняет слугу: не время для чужих рук.

— Давай сама, — говорит он, не оборачиваясь.

Она подходит сзади, тяжело ступая, и берётся за пряжку на боку. Пальцы у неё уверенные, не дрожат, хотя живот мешает подступиться вплотную.

— Туже, — просит он. — В дороге растрясёт, ослабнет сама.

Она тянет ремень так, что он чувствует, как кольчуга вжимается в рёбра, и усмехается про себя: вот тебе и женская рука, иному отроку такой выучки не хватает.

— Готово, — говорит она, но не отступает. Тишина в светлице густая, только снаружи доносится стук топоров. — Успеешь ли вернуться, — говорит она наконец, — пока дитя не пришло?

Александр молчит дольше, чем хотел бы. Семёнов день ещё далеко, а до Невы дней пять пути. Всё это он мог бы сказать, но сейчас не время для обещаний.

— Не знаю, — отвечает он коротко.

— А если не успеешь, — продолжает она, — что станет с городом, если тебя не станет совсем? Кто сядет на стол, пока дитя не подрастёт?

Вопрос бьёт точнее. Он смотрит на неё и чувствует, как внутри что-то обрывается.

— Новгород переживёт и без меня, — говорит он. — А я вернусь.

Он не умеет говорить иначе — только скупо. Но рука его сама тянется к её животу, ладонь ложится плашмя, и несколько мгновений он стоит так, чувствуя под пальцами что-то живое. Перед боярами он не позволил бы себе такого жеста. Здесь — можно. Александра не отстраняется.

— Я не прошу беречь себя ради меня одной, — говорит она тихо. — Прошу — не лезть под стрелы там, где можно обойтись без того. Я видела, как ты решаешь дела, когда в тебе вспыхивает решимость. Тогда ты не слышишь ни бояр, ни меня.

— Там, где нужно решить без оглядки, я так и буду решать, — отвечает он. — Но под пустую стрелу я не полезу. Обещаю то, что могу сдержать.

Она кивает. Затем руки её поднимаются к шее, и она снимает шнурок с серебряным крестом.

— Возьми, — говорит она и сама перекидывает шнурок ему через голову, расправляет на груди поверх кольчуги. — Пусть будет при тебе. Не как украшение — как заступа.

Крест ложится на кольчугу, почти не выделяясь. Александр касается его пальцами и не находит, что сказать — только кивает, коротко, и в этом кивке больше благодарности, чем вместили бы любые слова. За окном кто-то окликает его по имени. Пора.

У ворот на Великой улице уже скопился народ. Конные дружинники, охотники из концов, молодые бояре. Всё вместе — сотни три, может, чуть больше. Против того, что могли бы выставить пять концов города, — горстка. Александр проходит вдоль строя. У самых ворот стоит посадник. При нём десятка полтора своих людей. Но ни сам посадник, ни его люди не трогаются с места. Бритая голова блестит на солнце, будто он явился не проводить войско, а поглядеть на зрелище со стороны. Александр ловит на себе его взгляд — короткий, прицельный. Мгновение они смотрят друг на друга. Александру хочется подойти, спросить прямо: что ж ты, меч в ножнах бережёшь? Но он первым отводит глаза — не от робости, а потому что время сейчас дороже всякой перепалки. Он поворачивается к собравшимся. Коня под уздцы держит Гаврило Олексич.

— Конным — берегом, — говорит Александр. — Лодьям — Волховом и дальше Ладогой. Идём ходко, привалов сверх нужды не делать. Кто отстанет — догонит сам, ждать не будем.

Короткое распоряжение, без прикрас. Слова просятся сами, но он гонит прочь: не время красоваться. Строй трогается волнами: сперва конные, следом охотники, последними отчаливают ладьи. Александр садится в седло последним, ещё раз окидывает взглядом ворота — посадник так и стоит там, скрестив руки. Александр отворачивается и бьёт коня пятками. Стены Новгорода уходят назад медленно, тают в мареве. Деревянные навершия башен, крест Софии — всё это остаётся за спиной, и Александр ловит себя на мысли: его не послали сюда ни

отец, ни вече. Он сам решил — и сам повёл. Решение греет недолго. Следом приходит холод: что если горстки этой не хватит? Что если он приведёт людей не к победе, а к гибели — своей волей? Он смотрит на дорогу впереди и не находит ответа. Остаётся только ехать — туда, где уже стоят чужие шатры.

На второй день их догоняют три конных отряда новгородских бояр общей численностью около полутора сотен человек. Уверенность Александра в успехе немного увеличивается. "Что ж, — думает он, — влиятельные люди Новгорода, кажется, всё-таки решили поставить на ту лошадь, которая уже вышла из ворот. Осталось понять, умеет ли она скакать".

Третий день пути отряд тянется вдоль вязкой, пахнущей тиной земли. На исходе третьего дня дозорные замечают людей на тропе — невысокий старик в заплатанной свитке.

— Пелгусий, — представляется старик. — Старшина ижорской стражи. Третий день смотрю на них с берега, княже. Еще княже я и в Ладогу послал гонца, должны уже на подходе быть.

— Весть твоя дошла, — говорит Александр, спешиваясь. — Сказывай, что видел.

Пелгусий рассказывает обстоятельно: шатры стоят у устья Ижоры, кони пасутся без присмотра, дозорных немного. Шведы уверены в своей силе — высадка прошла без помех.

— Благодушны, — повторяет за ним Александр. — Это хорошо. Это нам и нужно.

Старик кивает, но медлит.

— Было мне, княже, видение на рассвете, — говорит наконец Пелгусий. — Стоял я в дозоре, вода ещё тёмная была, а над ней вдруг свет. И в том свете двое, в одеждах светлых. Будто плыли по воде, и один другому говорит: брат Глеб, вели грести скорее, поможем сроднику нашему Александру.

Александр слушает молча. Усомниться вслух — оскорбить человека. Поверить слишком жадно — не дело, князю положено опираться на разум.

— Благодарю тебя, Пелгусий, — говорит он просто. — За весть о шведах. Он отходит на несколько шагов и считает про себя: людей у него меньше полутысячи против лагеря, где шатров несколько десятков. В открытом поле такое число не выстоит. Отец говорил ему когда-то — сила без расчёта не стоит древка без копья; сейчас расчёт один: ударить там, где враг не ждёт, пока лагерь не укрепился рвом. Иного пути нет. Открытый бой — для тех, у кого хватает числа. У него числа нет, зато есть ночь и берег, который Пелгусий знает лучше, чем свой двор.

— Идём без огней, — говорит он. — Костров не разводить. К Ижоре выйдем с рассветом, пока они ещё спят. Гаврило Олексич коротко кивает. Остальные подтягиваются молча: впереди ещё ночь пути.

Ночь ложится на берег без костров. Огонь выдал бы их за версту. Коней держат в поводу, у самой воды. Александр идёт вдоль стана, не торопясь. Он не говорит речей — он смотрит, как затянут ремень на брони, трогает рукоять меча. Люди отвечают коротко: до рассвета — тишина, после рассвета — бой. У края стана сидит молодой дружинник Ратибор. Он вскакивает, завидев князя.

— Княже, — говорит он, и голос у него дрожит, — а ну как их там втрое против нас? Пелгусий сказывал — десятки шатров…

Он не договаривает. Но Александр не усмехается.

— Числом бьют не всегда, — говорит он тихо. — Числом бьются те, у кого иного нет. У нас есть ночь и берег, которого они не знают. Руби завтра не считая вражеских шатров — считай свой удар. Один, крепкий, туда, куда метишь.

Он кладёт руку парню на плечо, и Ратибор выпрямляется. Больше вопросов он не задаёт. Ближе к полуночи от реки возвращается последний дозорный. Он подходит к Александру, тяжело дыша.

— Тихо у них, княже, — говорит он. — Костры погасили почти все, караулы — наперечёт, да и те больше у воды стоят. Спят, видно, крепко: день удачный был у них, что им бояться.

Александр слушает и чувствует, как внутри что-то становится на место, окончательно. Окно остаётся открытым, враг благодушен, ночь на их стороне.

— Передай по рядам, — говорит он негромко, — на заре выступаем. Коней седлать тихо, без лишнего слова. Кто на лодьях — пусть приготовят вёсла, обмотать уключины тряпьём, чтобы не скрипели.

Дозорный кивает и уходит. Александр остаётся один у кромки воды. Он смотрит на огоньки чужого лагеря и ловит себя на том, что внутри, там, где раньше всегда находилось место для сомнения, сейчас пусто и ровно, как расчищенный от снега лёд. Нет того испуганного мальчишки, что когда-то стоял на подворье. Нет и отцовского голоса за плечом. Отец далеко, в Переяславле, а всё решится здесь, у этой воды. Остаётся одно: дождаться света. Он ещё раз окидывает взглядом тёмный берег, спящую реку, невидимых во мраке людей, доверивших ему свои жизни, — и уже не чувствует под сердцем холода, только ту особую, уже не отступающую решимость, с которой выходят не на бой даже, а на дело, которое больше не отпустит его обратно.

Глава 6. Невская битва

Небо на востоке ещё не светлеет, а только теряет глубину черноты, будто кто-то невидимой рукой разбавляет чернила водой. Трава под дружинниками мокрая, роса стоит крупными каплями, и когда Александр садится на одно колено, вставая после короткого забытья, ладонь, упёртая в землю, сразу становится холодной и влажной. Он трёт пальцы друг о друга, разгоняя кровь, и смотрит на своих людей: лежат вповалку вдоль берега, кто завернувшись в плащ, кто просто на локте, с мечом под боком, будто и во сне не хотят расставаться с оружием. Никто не спит по-настоящему — так, полудрёма, в которой слух всё равно ловит каждый плеск воды и шорох камыша. Сам он не ложился. Сидел у коня, прислонившись спиной к седлу, и смотрел на те дальние, едва тлеющие огоньки у слияния рек, пока они не слились в памяти с темнотой настолько, что он уже не был уверен, видит их ещё или просто помнит. "Воеводская бессонница, — подумал он, — это когда ты лежишь с открытыми глазами не потому, что страшно, а потому что считаешь, хватит ли у тебя людей, если половина из них сейчас видит во сне кабанью охоту вместо шведских щитов".

Из тумана, что стелется над рекой белой простынёй, выходит фигура — невысокая, в рыбацком армяке, движется бесшумно. Это один из ижорян Пелгусия. Сейчас он снова здесь, и по тому, как быстро он идёт, не таясь, Александр понимает: весть важная.

— Княже, — говорит парень, чуть запыхавшись. — Ладожане подошли. Пешая рать, что Пелгусий звал. На том берегу Ижоры стоят, у брода, ждут знака.

Александр поднимается рывком, и сон слетает с него мгновенно, как слетает роса с плаща, если его резко встряхнуть.

— Сколько их?

— Говорят, сотни три будет, может, чуть боле. Ладожский старшина с ними, да и мужиков местных прибилось — кто с рогатиной, кто с топором.

Три сотни пеших — не бог весть какая сила, но Александр уже прикидывает в уме, как распорядиться этим даром. Ижора впадает в Неву чуть выше шведского стана, и если ладожане ударят с того берега в то же мгновение, что его конный клин — с этого, то шведы окажутся меж двух огней. Застать врасплох дважды, с двух сторон разом, — такого расчёта шведский воевода уж точно не ждёт.

Но рассвет не ждёт никого. Небо на востоке уже наливается блёклой синевой.

— Разом ударим, — говорит он вслух, скорее для себя, чем для ижорянина.— Пока не рассвело вовсе.

Он оборачивается, находит взглядом древко своего копья, воткнутое в землю рядом с седлом, и быстро срывает с рукава белый плат — тот самый, что некогда был вышит женской рукой. Обматывает древко чуть ниже наконечника, туго, в несколько витков.

— Передай на тот берег, — говорит он гонцу с другого берега, — как увидят, что я подниму копьё и трижды поведу им из стороны в сторону, — пусть идут. Не раньше. Рог не трубить, шведы не глухие.

Ижорянин кивает, повторяет про себя жест — трижды вправо-влево, — и тут же исчезает обратно в туман.

Гаврило Олексич, разбуженный негромким движением в лагере, уже на ногах, шлем в руке, смотрит на Александра выжидающе — этот взгляд Александр за последние дни успел выучить наизусть: взгляд человека, готового исполнить любой приказ, лишь бы приказ наконец прозвучал.

— Коней к броду, — говорит Александр. — Ты ведёшь конный клин первым, я следом. Бьём со своего берега, пока ладожане заходят с того. Пелгусий тропы знает, пойдёт впереди.

Пелгусий, стоящий чуть поодаль, молча склоняет голову. Гаврило коротко усмехается, этак сухо, без улыбки на губах:

— Чтобы шведы проснулись не от труб, а от мечей над головой. Любо, княже.

Он уходит к коням, и лагерь за его спиной приходит в движение — бесшумное, насколько это вообще возможно для полутысячи людей. Александр остаётся на миг один, вдевает ногу в стремя, но не поднимается в седло сразу. Он сдвигает ворот кольчуги и нащупывает под ним крест, тот самый, что Александра сняла с себя в последний вечер. Крест холодный от кольчужного железа, но под пальцами тёплый. Он крестится коротко, одним движением, без лишней торжественности. Небо на востоке уже сереет по-настоящему, и где-то за пеленой тумана невидимый шведский стан спит последним спокойным сном в своей жизни. Александр поднимается в седле.

Вода встречает коней чуть выше колена. Конь оскальзывается, выправляется, идёт дальше. Позади так же: ни ругани, ни лишнего плеска, только сдавленное дыхание людей. Туман стоит над Невой плотным молоком, и в этом молоке брод — единственная твёрдая мысль. Гаврило Олексич правит чуть правее, держит клин острым углом. На том берегу, саженях в десяти, шевелится что-то у самой кромки — человек, присевший по нужде или задремавший на страже. Он поднимает голову, когда первый конь выходит из воды, и этого мгновения хватает ему только на то, чтобы различить фигуру в седле, но не на то, чтобы понять, чья. Рот его открывается — то ли окликнуть, то ли закричать, — и тут же захлопывается навсегда: Олексич, не сбавляя хода, рубит наотмашь, и крик обрывается на полузвуке.

Александр выезжает на берег следом, конь стряхивает воду с боков, и в этот самый миг он понимает — тишина кончилась. Где-то слева опрокидывается котёл — глухой медный звон. Чей-то голос спросонья бормочет по-свейски, другой голос, уже тревожный, кричит в ответ. Поднимаются силуэты — босые, в исподнем, кто с топором, кто вовсе с голыми руками. Александр не ждёт, пока муравейник опомнится. Он направляет коня прямо на первый ряд шатров, туда, где белое полотно натянуто между кольями, и меч его идёт не сверху вниз, а вбок, одним широким движением — и полог лопается не как преграда, а как ветхая холстина.

С другого берега Ижоры в этот же миг взлетает такой же шум — крик, звон, топот. Александр узнаёт его сразу: ладожане ударили вровень, без опоздания. Клещи, задуманные под утро над кострищем, сомкнулись. Думать об этом некогда. Он разворачивает коня боком вдоль ряда шатров, ищет глазами то, что всякий воевода ищет первым делом, — не отдельного врага, а знак, флаг, шатёр побогаче, где должен быть тот, кто отдаёт приказы. И тут, сквозь редеющий на миг дым, он видит. Впереди качается высокий, богато украшенный шлем с пером. Под шлемом — широкие плечи в плаще, застёгнутом пряжкой, блеснувшей золотом. Человек этот не бежит. Он стоит, выкрикивает что-то своим.

Александр смотрит на этот шлем дольше, чем следовало бы, и в нем поднимаются одновременно волнение и азарт. Он разворачивает коня, бьёт пятками в бока и идёт прямо туда, где щиты стоят гуще всего.

Телохранители вокруг шведского воеводы спохватываются поздно: Александр уже внутри их полукруга, и древко копья в его руке опускается низко, остриём вперёд. Один тянется перехватить коня под уздцы — конь сбивает его грудью. Воевода стоит твёрдо. Доспех на нём не похож на кольчуги прочих шведов — панцирь чешуёй блестит. Он успевает поднять щит и принимает удар копья плашмя, звонко, щит проседает, но держит. В ответ он бьёт коротко, без размаха, мечом снизу, и бьёт расчётливо — туда, где кольчуга сходится у плеча. Клинок находит щель.

Боль приходит не сразу, сперва только холод, будто окунули руку в невскую воду, а после — жжение. Александр слышит, как Ратибор где-то за спиной выкрикивает что-то, но слов не разбирает: весь мир сузился до руки воеводы, до блеска его меча. Рука слушается. Он разворачивает коня боком, уходя от второго удара, и копьё в его руках не падает — наоборот, тяже-

леет странной, злой тяжестью. Воевода, довольный первым попаданием, на миг приподнимает забрало шлема выше, чтобы крикнуть своим — и этот миг становится последним его промахом. Александр вкладывает в удар весь вес тела, всю злость на боль, и копьё идёт не в грудь, закрытую панцирем, а туда, где между краем шлема и поднятым забралом белеет полоска лица.

Швед роняет меч раньше, чем успевает осознать, что произошло, и оседает медленно, как оседает подрубленное дерево. Его подхватывают свои — те двое или трое, что ещё держатся рядом, — подхватывают под руки, волокут прочь от сечи, туда, где за дымом угадываются борта корабля. Александр не гонится следом. Он сидит в седле, и копьё в его руке вдруг становится неподъёмным. Он чувствует, как по плечу, под кольчугой, стекает тёплая полоса. Рука начинает неметь у самого локтя, и он сжимает и разжимает пальцы на древке копья. Слушаются. Значит, можно жить дальше. Крест Александры Брячиславны под кольчугой холодит кожу сильнее обычного. Александр коротко, одними губами, благодарит, и бьёт коня пятками, снова вперёд.

Шатры падают один за другим, будто кто-то проходит вдоль ряда с косой. Из-под этой падающей холстины выползают люди, полуодетые, и хватают щиты наугад, часто не свои. Александр рубится, почти не выбирая, куда бьёт. Тело, привыкшее за годы дружинной выучки само ведет счёт — отбить, ударить, достать. Где-то сбоку, у самой воды, Гаврило Олексич прорубается к сходням большого корабля. Александр успевает увидеть краем глаза, как он сбивает с ног шведа, пытавшегося втащить на борт укреплённую лесенку, и как двое или трое в богатых плащах кидаются именно к этим сходням — знать всегда первой вспоминает о спасении, туда же тащат раненого Александром воеводу. Гаврило Олексич развернул коня, пришпорил его и устремился за ними. Боевой жеребец, привычный к шуму битвы, не испугался ни плеска волн, ни запаха крови. Он вознес его вверх по скользким, качающимся доскам.

Топот копыт услыхали несшие воеводу телохранители. Да и с корабля кричали им об опасности. Шведы, стоявшие на палубе, торопливо, словно мешок зерна, сбросили раненого в трюм и развернулись навстречу въезжавшему по сходням Гавриле. Двое угрожающе размахивали копьями перед мордой коня, а третий поддел сходни крепким древком копья и с силой свернул их в сторону. Тяжёлые доски с треском отлетели. Конь, потеряв опору, тяжело рухнул в чёрную воду Невы, подняв тучу брызг. Гаврило, чьи ноги намертво застряли в стременах, ушёл под воду вместе с ним. На мгновение всё замерло — только круги на воде да крики шведов на палубе.

Но вода не приняла его. По Божьей милости боярин вывернулся из стремян. Тяжёлая кольчуга тянула ко дну, но он вынырнул, хватая ртом воздух, и вцепился в борт корабля. Не тратя времени на то, чтобы лезть обратно на палубу — шведы уже готовились встретить его сверху ударами копий, — он оттолкнулся ногами от киля и поплыл к берегу, где его уже поджидали свои. Выбравшись на песок, он не стал переводить дух. Мокрый, в отяжелевшей броне, с волосами, залепившими глаза, он выхватил меч и, не оглядываясь, снова бросился в гущу боя. Теперь он искал епископа в дорогих доспехах, который пытался организовать отпор у сходен. Через несколько минут его оружие нашло цель: латинский епископ, отбивавшийся не мечом, а тяжёлым распятием, пал.

Александр, чей конь только что вынес его из воды на вражеский берег, краем глаза успел заметить этот всплеск и тёмную фигуру, вынырнувшую у борта. Он не успел крикнуть Гавриле — своя рубашка ближе к телу, а чужая шнека ближе к берегу, — но в груди потеплело. Если у тебя есть хотя бы один такой боярин, который готов въехать в ад верхом и выплыть обратно только ради того, чтобы продолжить драку, — дело наполовину сделано.

Рядом с Александром вдруг оказывается Ратибор — молодой дружинник, и лицо у него бледное, как у человека, которого только что окатили ледяной водой. У ног его коня лежит швед, неподвижный.

— Княже, — выговаривает он, и голос у него срывается, — они… они спали.

— Теперь не спят, — коротко отвечает Александр. — Держись рядом. И закрой рот, пока цел.

Савва, юноша из младшей дружины, не стал дожидаться общей свалки. Пока остальные рубились у кромки воды, он скользнул вглубь лагеря, туда, где стояли шатры ярлов. Он нырнул под полог самого высокого, златоверхого шатра, где, по словам ижорян, сидел сам шведский епископ. Внутри было тесно от сундуков и рухляди. Савва не стал искать воеводу в темноте — он ударил топором по главному опорному столбу. Дерево хрустнуло, жалобно, по-человечьи. Шатёр просел, ткань накрыла десяток шведов, пытавшихся выбраться из-под рухляди, и в лагере поднялся такой вой, что даже кони на берегу шарахнулись. Александр, услышав этот грохот за спиной, усмехнулся: "Вот тебе и мальчишка. Одним шестом сделал больше, чем иные целым полком".

Миша, пеший дружинник из Новгорода, действовал проще и грубее. Пока конница топталась у шатров, он со своим десятком вышел прямо к воде, где у самого берега, уткнувшись носами в илистую отмель, стояли пришвартованные шведские шнеки. Бой на суше — это искусство, бой на шаткой палубе — это мясорубка. Мишиным людям было не привыкать ходить по мокрым брёвнам на торгу. Они прыгали на корабли, рубили канаты, втыкали топоры в уключины. Три судна, нагруженные припасами и ранеными, не выдержали такой прыти — накренились, черпнули бортом воду и медленно, неохотно ушли под чёрную гладь Невы, утащив за собой тех, кто не успел выпрыгнуть. "Надеюсь, рыбы в Неве сегодня не будут жаловаться на несварение", — подумал Александр, проезжая мимо пузырящейся воды.

Яков Полочанин, княжеский ловчий, не любил общих драк. Он увёл свой малый отряд в туман ещё до того, как Александр поднял копьё. Они зашли со стороны леса, откуда шведы не ждали удара, и обрушились на отдельный полк, стоявший чуть поодаль от основного стана — тех, кто охранял табуны и телеги. Яков работал молча, вёртко, как куница в курятнике. Когда Александр прорвался в центр лагеря, он увидел Якова уже в тылу врага — тот стоял над телом шведского знаменосца, а его люди гнали ошалевших от неожиданности кнехтов прямо под клинки конницы. Князь, проезжая мимо, только кивнул ловчему: "Добрая охота, Яков".

Сбыслав Якунович, новгородец, вообще презирал железо, если оно длиннее локтя. В его огромных ручищах обычный плотницкий топор казался игрушечным, но те, на кого этот топор опускался, так не считали. Он не строился в ряд, не держал щит. Он просто шёл сквозь шведский строй, как медведь сквозь камыш, и каждый его взмах оставлял за собой просеку. Александр видел его дважды за этот бой: первый раз — когда Сбыслав врубился в самую гущу, и шведы отшатнулись от него, как от бешеного; второй раз — когда тот, уже раненый в плечо, просто перехватил топор в левую руку и продолжил крушить черепа, даже не сбившись с дыхания.

Ратмир, молодой слуга из личной охраны князя, бился пешим, прикрывая стремена Александра от тех, кто пытался достать князя снизу. Их было слишком много для одного. Ратмир не отступил, когда строй вокруг него рассыпался. Он принял на щит удар секиры, второй удар пропустил по шлему, а третий — копейный — вошёл ему под ребро. Он упал на колени, всё ещё сжимая рукоять меча, и шведы просто переступили через него, спеша к шатрам. Александр увидел это краем глаза, но вернуться уже не мог — его уже несло вперёд, к воеводе. Ратмир остался лежать в истоптанной траве, и вода из реки медленно подбиралась к его пальцам.

Корабли отходят от берега неохотно, будто сама Нева не хочет отпускать их. Кто-то рубит канаты наотмашь, кто-то просто бросает весло и прыгает через борт в холодную воду — лишь бы прочь от этого берега. С другого берега Ижоры ветер доносит крик — ладожская пехота добивает тех, кто попытался уйти берегом. Александр слушает этот затихающий звук и чувствует, как в груди оседает зверское удовлетворение погони. Несколько его людей уже заходят по колено в воду, норовя достать веслом тех, кто ещё барахтается.

— Будет, — говорит Александр, и голос у него садится от дыма. — Не лезьте в воду за беглецами. Этих мы уже победили, нечего людей класть ради тех, кто и так бежит.

Молодой дружинник, уже по пояс мокрый, замирает с занесённым копьём, смотрит на князя с недоумением. Но приказ есть приказ, и он выходит обратно на берег, отряхиваясь, как мокрый пёс.

Гаврило Олексич подъезжает ближе, конь под ним тяжело поводит боками, весь в мыле и в чужой крови. У самого Гаврилы разорван рукав, но лицо довольное.

— Лагерь наш, княже, — говорит он, спрыгивая наземь. — Кони ихние — десятка три, не меньше, да сбруя добрая. Оружия — полны шатры. Припасов — на доброе войско на месяц станет.

— А люди?

— Кто не убежал — тех немного осталось, и те по большей части либо раненые, либо пленные. Воеводу ихнего унесли на корабль, видел сам, уже не так, что сам шёл, несли его.

Александр коротко кивает. Плечо отзывается тупой болью. Из дыма выходит Пелгусий. Он не спешит, идёт ровным шагом. Подойдя, он склоняет голову — не низко, а так, как кланяется один воин другому. Он ничего не говорит. Александр смотрит на него и кивает в ответ, и в этой тишине между двумя уставшими людьми больше понимания, чем было бы в целой речи. Только теперь, когда крики стихают, Александр позволяет себе почувствовать, как болит плечо. Кровь на кольчуге уже подсохла, стала бурой. Он опускает глаза на собственную руку, всё ещё сжимающую копьё, и видит, что пальцы дрожат.

Костоправ Елисей опускается на одно колено перед Александром и велит снять ремень с наплечника.

— Потерпи, княже, — говорит он коротко, разматывая холстину. — Глубоко не вошло, кость цела.

Он прижимает к ране скомканный лоскут, пахнущий травяным отваром, и начинает стягивать полосой холста, затягивая туго, рывками. Боль вспыхивает при каждом обороте, и Александр стискивает зубы, но не позволяет себе ни звука. Он смотрит поверх головы костоправа, на дымящиеся головни.

— Готово, — говорит Елисей, завязывая последний узел. — Дён десять поноет, потом забудешь.

Александр благодарит его коротким кивком и медленно встаёт, придерживая руку.

Чуть поодаль, среди примятой травы, лежат свои. Немного — восьмеро или девятеро. Александр подходит ближе, снимает шлем и стоит так, пока ветер с реки шевелит волосы.

— Схороним здесь, у воды, — говорит он подошедшему Гавриле. — Как подобает, с крестом. Не бросим.

Гаврило молча кивает. Рядом стоит Ратибор. Ещё третьего дня это был безусый мальчишка, а сейчас лицо у него серое, но взгляд другой — тяжёлый, спокойный.

— Княже, — говорит он тихо, — я... первого своего взял сегодня.

Александр смотрит на него внимательно.

— Запомнишь его лицо, — говорит он не как утешение, а как правду. — Это не проходит бесследно. И не должно. Ратибор молчит, только кивает.

Костры загораются один за другим — теперь уже без опаски. Дружина делит добычу шумно: кто-то взвешивает на руке трофейный меч, кто-то примеряет чужой пояс. Александр сидит у ближнего костра, не вмешиваясь в делёж. Он слушает, как пересказывают друг другу бой, и с каждым разом бой этот становится всё больше похож на сказание.

— А князь-то наш, — кричит кто-то из дальнего костра, — в самую гущу, прямо на ихнего воеводу! Я своими глазами видал!

— Видал он, — отзывается другой голос, насмешливый. — Ты в тот час за телегой прятался, Онфим.

Смех прокатывается по кострам, и вдруг кто-то кричит через огонь, радостно:

— Невский князь!

Слово подхватывают сразу в двух местах, потом в третьем. "Невский, Невский" — катится от костра к костру. Александр слышит это со стороны и чувствует странное: не гордость, не досаду — скорее узнавание чего-то неизбежного. Прозвище липнет к человеку так же, как шрам. Он усмехается про себя, коротко, и думает, что от такого слова уже не отделаешься, хоть бы и хотел. А он, по правде, не очень и хочет.

К нему подходит Гаврило Олексич, всё ещё в забрызганной кольчуге, но голос у него деловой.

— Пленных взяли немного, княже, человек десять. Знамя одно захватили — воеводское, с крестом на алом поле. И ещё одно, поменьше.

— Хорошо, — говорит Александр. — Знамёна отдельно держи, покажем в Новгороде. Пленных накормить и стеречь, как положено.

— Сделаем, — кивает Гаврило и, помедлив, добавляет уже без всякой деловитости: — Дело ещё не кончено до конца, княже. Корабли их у берега стояли — может статься, не все ушли.

Александр кивает, и Гаврило отходит к своим. Мысль, которую он весь бой держал где-то на самом дне, всплывает теперь: Новгород, терем на Городище, Александра Брячиславна. Скорее бы долетела до неё весть — не через десятые уста, а прямым словом: жив, цел, идёт домой. Плечо отзывается тупой, тянущей болью. Он поводит рукой, проверяя, слушается ли, и морщится — слушается, но нехотя. Он смотрит на огонь, на лица дружинников, уже не бледные, а раскрасневшиеся от костра, и думает, что имя "Невский" теперь поедет впереди него — в Новгород, в Переяславль, к отцу. Прозвища не спрашивают, хочет ли человек их носить.

Солнце уже встало над устьем, когда дружина трогается в обратную дорогу — не крупной рысью, как шли сюда ночью, а шагом, усталым и неровным. Кони несут раненых поперёк сёдел, трофейные мешки с оружием бьются о бока лошадей глухо. Кто-то затягивает песню про удаль молодецкую, нестройную, и десяток голосов подхватывает вразнобой. Александр едет чуть впереди остальных, рука на перевязи, и каждый шаг коня отдаётся в плече тупым толчком.

Позади него уже слагают о битве то, что завтра станет рассказом: голос молодого дружинника выводит про то, как князь-де один на один воеводу ихнего одолел, а воевода был в три сажени ростом. Александр усмехается про себя — трёх саженей не было, была узкая полоска между щитом и шлемом, куда он всадил наконечник, — но спорить с песней бессмысленно. В памяти, неожиданно и некстати, всплывает лицо посадника — там, у новгородских ворот. Он тогда не сказал ничего лишнего, только смотрел — долгим, цепким взглядом человека, который не спорит вслух, но запоминает счёт. Этот взгляд не стёрся за ночь боя, он лежит теперь где-то рядом с болью в плече, отложенный, но не забытый.

Александр понимает это внезапно: чем громче слава, тем заметнее становится князь для тех, кто меряет не победы, а власть. Новгород встретит его колокольным звоном, а после того, как стихнет звон, найдутся люди, которые станут считать не павших шведов, а то, сколько власти прибавилось у молодого князя. Он оборачивается коротко и смотрит на берег, что остаётся позади: брошенные шведские шатры, часть сожжённая по его приказу. Нева идёт широкая, спокойная, будто ничего этой ночью и не было.

Дорога впереди тянется к Новгороду, и Александр ловит себя на мысли: возвращение домой может оказаться труднее самой битвы. Там, на берегу, враг был виден — щит, меч, лицо. Дома враг не выйдет в открытое поле, он будет сидеть за вечевым колоколом и считать, плести паутину заговоров, кричать на вече. Плечо снова отзывается тупым толчком, и Александр перехватывает поводья левой рукой. Где-то там, за лесами, Александра Брячиславна слушает, должно быть, тот же звон, что скоро услышит и он сам, только раньше — слухом, не словом. Скорее бы доехать и сказать ей самому: жив, цел, не веришь чужим устам — вот он я.

Песня позади крепнет, набирает слаженность, и сквозь неё снова прорывается то самое слово, брошенное вчера у костра шутки ради, а сегодня подхваченное уже не как шутка:

— Невский!

Александр слушает его молча и думает, что от такого имени, пожалуй, спасения не будет — ни дома, ни дальше дома.

Глава 7. Неблагодарный город

Колокольный звон встречает их раньше городских стен. Он плывёт над Волховом, над местами розовыми, иногда фиолетовыми, часто бледно-розовыми от цветов иван-чая лугами, над грязью дороги, по которой дружина шла последние версты уже не строем, а толпой — кто как держится в седле. Софийский колокол бьёт густо, без пауз, словно боится, что на вдохе его кто-нибудь остановит. Александр слышит этот набат за полдня пути и чувствует, что внутри не только радость от возвращения, но и горечь потерь и предчувствие скорого противостояния с влиятельными новгородцами.

Народ выплескивается на оба берега. Бабы тянут караваи на рушниках, мужики мнут в руках шапки, мальчишки с визгом гонятся за заводным конём. Пахнет кислым тестом, речной сыростью и конским потом. Этот запах кажется Александру до смешного мирным — слишком резкий контраст с гарью шведских шатров на Неве.

Рука под повязкой дергает при каждом шаге, но спину он держит прямо. Въезжать в ворота сгорбленным — дурная примета, да и дружина сзади смотрит. Пусть лучше думают, что у их князя кости из железа. Следом несут трофейные знамёна. Полотнища обвисли, ветра нет, но толпа всё равно ревёт так, что кони приседают на задние ноги.

У ворот детинца, где положено встречать, застыла местная знать. Цветное сукно, золотые цепи, лица каменные. Первым в пояс кланяется посадник, следом Домаш Твердиславич — так низко, что окладистые бороды вот-вот подметут пыль.

— Со славной победой, княже, — голос у посадника масляный, обволакивающий. — Нева тебя прославила, и мы, грешные, рады.

Александр отвечает коротким кивком и смотрит обоим по очереди в глаза. И видит там ровно то, что ожидал: холодную прикидку торгашей, разглядывающего чужой товар. Радости в этих глазах нет. Есть только вопрос: во что нам обошёлся твой подвиг и когда подавать счёт?

Архиепископ служит молебен на паперти Софийского собора, голос его рвет воздух не хуже колокола. Народ крестится, кто-то плачет в голос. А когда хор стихает, площадь начинает скандировать:

— Невский! Слава князю Невскому!

Александр слушает этот крик и ловит в нём ту же двойную ноту, что и на берегу. Искренний восторг черни — и вплетённое в него, как сорная трава в рожь, чужое, липкое. Слишком громко кричат прозвище не только у реки. Его подхватывают и у ворот, где стоит боярство. В этом подхвате чудится не любовь, а проба на зуб: посмотрим, герой, как ты теперь с этим именем проживёшь.

Он спешивается, и тут же, над самым ухом, звучит густой бас:

— Это ж сколько коней-то князю досталось… Десять, почитай, да сбруя шведская, да мечи — всё к нему в хоромы, а городу что с того похода, окромя звона?

Говорит не ему, а так, чтобы слышали все. Александр не оборачивается. Он слышит каждое слово и чувствует, как рядом с усталостью поднимается знакомое ожесточение. Город встречает его хлебом и тут же, не отходя от ворот, начинает считать его трофеи, будто он тать, а не князь, вернувшийся с победой, добытой его же кровью.

Хлеб-соль подносят на расшитом рушнике. Александр принимает каравай обеими руками, превозмогая тупую боль в плече, отламывает, макает в соль, жуёт — как положено, с достоинством. И пока жуёт, думает о том, что этот город умеет быть благодарным ровно столько, сколько требуется для приличий. А потом начинает мерить благодарность на вес серебра.

К вечеру, когда толпа рассасывается и колокол стихает, оставляя звенящую пустоту, Александр едет к Городищу. Дорога идёт вдоль берега, мимо огородов. Он не оборачивается к ехавшему рядом отроку, но произносит вполголоса, скорее для себя:

— Праздник в этом городе всегда с двойным дном. Сверху мёд, снизу — счёт.

Отрок молчит. Да и что тут ответишь. Впереди частокол Городища, и там, у крыльца, стоит та, кому можно будет сказать это же другими, более мягкими словами.

На Городище его ждут. Александра стоит у резного столба, и Александр видит, как тяжело дались ей эти дни — лицо осунулось, живот под летником кажется непомерно большим. Но она не садится, пока он не подходит вплотную. И тянется первым делом не к его лицу, а к повязке на плече.

— Дай погляжу, — в голосе ни слёз, ни упрёка, только деловитая тревога хозяйки. Она щупает ткань, хмурится. — Через плащ бил, что ли? Зашили криво, на живую нитку.

— Повитуха бы лучше справилась, — это первая его шутка за весь день, неуклюжая и усталая.

Александра улыбается одним углом рта.

— Повитуха занята, — она кивает на горницу. — Третий раз заглядывает. Говорит, дитя повернулось, значит, скоро.

— Скоро — это когда?

— К Семёнову дню. Может, раньше.

Он опускается на лавку у печи. Впервые за несколько суток, начавшихся ещё затемно на Ижоре, можно не держать спину прямо. Александра не спрашивает о битве — ждёт, пока он сам выдохнет. И он ценит это молчание больше любых расспросов.

— Побили их, — говорит он, глядя в огонь. — Половина там, половина на кораблях ушла, без воеводы. Тот раненый, тяжело. Наших… — он запинается не от слабой памяти, а потому что каждое имя встает перед глазами отдельно, — девять человек. Схоронили там же, у воды, наскоро. Отпоём, как вернёмся с обозом.

Александра медленно кивает. Она считает про себя эти девять имён, примеряя их тяжесть, как примерила бы собственную потерю.

— Ты не сказал ничего про плечо, — произносит она после паузы.

— Что говорить. Мечом достал, неглубоко, кость цела. До свадьбы заживёт, — он снова пытается шутить.

— Мы уже женаты, — напоминает она. — Значит, до крестин.

Полтора месяца проходит в странной лихорадке. Александр разрывается между Городищем, где бояре через посыльных то поздравляют, то прозрачно интересуются, когда он отдаст городу трофейных коней, и теремом, где жена с каждым днём ходит всё тяжелее.

В один из вечеров, когда за окном темнеет, из сеней выходит повитуха, вытирает руки о передник:

— Сын у тебя, князь. Здоровый, голосистый.

Он входит в горницу неловко, как чужой. Александра, бледная, но светящаяся, протягивает свёрток. Александр берёт сына одной рукой — раненое плечо воет, когда поднимаешь его выше груди. Стоит, не зная, куда деть взгляд, пока младенец не морщится и не разражается требовательным криком.

— Голос-то отцовский, — замечает повитуха из угла.

Александра смеётся — негромко, устало, но искренне.

Позже, когда ребёнка уносят, а в горнице остаются только лучина и ровное дыхание жены, Александр сидит у окна. Александра не спит, просто лежит с закрытыми глазами, но успевает заметить, как мрачнеет лицо мужа. Радость, с которой он держал сына, уже подёрнута тревогой. Она не спрашивает, что за звук он слышит за стенами терема. Она знает этого человека достаточно: радость в его доме никогда не бывает цельной. Она всегда соседствует с расчётом.

Наступил октябрь. Гридница пахнет мокрой овчиной — бояре сходятся с улицы, где с утра моросит. Александр сидит в кресле, рука на перевязи, и смотрит, как гости рассаживаются. Не ради совета — ради протокола. Не спросишь, скажут, что побрезговал. Старый противник Домаш садится напротив.

— Коней трофейных да оружие, князь, через казну делить надобно. Всё, что взято у шведа, — городу принадлежит.

— Через казну, — повторяет Александр. — А казна через кого делит?

— Через вече, через посадника, через меня да через старост. Как встарь водилось.

— Встарь, — говорит Александр, — дружина шла на Ижору с вечевым благословением. А я шёл с малой дружиной. Без созыва веча, без вашей помощи. Когда шведы высаживались, город спал, пока гонец от моей разведки не прискакал. Добыча — дружинная. По праву взятого.

С задних рядов крякают. Толстый боярин у печи качает головой:

— Привык князь сам решать, не спросясь города. Поход без веча затеял — ладно. А трофеи без веча делить — это уже другое дело.

— Другое дело какое? — Александр поворачивается к нему. — Кони моим дружинникам достались, не вашим ополченцам. Я не казну городскую грабил, боярин.

— Пока не казну, — вставляет Домаш, вкладывая в "пока" всю доступную ему угрозу. Александр молчит, глядя на бритую голову боярина. Военная выправка в каждом движении. Этот человек воевал не хуже его дружинников, просто за другое — за то, чтобы князь всегда оставался гостем.

— Добро, — говорит Александр. — О конях спорить не стану. Оставлю десяток городу в дар. По доброй воле. По гриднице проходит растерянный шум. Такого хода не ждали. Александр знает цену этому десятку — малая плата за тишину.

Но едва шумок стихает, он поднимается.

— И ещё одно скажу. У Великого моста сотником ставлю Гаврилу Олексича. Он на Неве первым на корабль взошёл. Прежнего сотника, боярского, благодарю за службу.

Гридница замирает. Слышно, как потрескивает лучина. Толстый боярин открывает рот, но не успевает:

— Это кто ж тебе право такое дал, князь, своих людей на городские посты ставить?

— Победа дала, — отрезает Александр. — Я мост этот от шведа защитил. Будет на нём стоять тот, кому я верю.

Он смотрит на посадника, затем на Домаша, ожидая рыка. Но посадник молчит, боярин тоже. Долго. Оба склоняют головы набок, почти одновременно, прикидывая в уме, сколько ещё таких решений вынесет город. Это молчание тяжелее любого крика. Александр только что выиграл спор. Но проиграл что-то другое, чему пока нет названия. Он нажил не благодарность. Он нажил счёт.

Прошло полтора месяца. Крик долетает до Городища раньше гонца. Александр стоит у коновязи, проверяя плечо — рана затянулась, но рука ещё деревянная, — когда во двор влетает отрок с моста.

— Княже, там дерутся! У моста, люди Домашевы Гаврилу с места сгоняют!

Александр в седле. Дружинники вскакивают следом, не дожидаясь приказа — по одному виду князя всё ясно.

До Великого моста — два перегона, но хватает и одного, чтобы замёрзнуть изнутри. Сентябрь тёплый, солнце бьёт в глаза, а внутри — все замерло, как перед Невой. Он слышит звон железа и ругань. На мосту толпа, зеваки, сбитые лотки. В середине — Гаврила, без шапки, с рассечённой бровью, кровь заливает глаз. Меча он не достал, бьётся голыми руками с двумя городскими стражниками.

— Прекратить! — голос Александра перекрывает шум не громкостью, а хрипотцой, от которой люди замирают раньше, чем успевают подумать.

Драка стихает. Александр слезает, идёт неспешно, оглядывая своих и чужих. Кладёт руку Гавриле на плечо.

— Стой здесь. Куда поставлен, там и стой.

Гаврила кивает, тяжело дыша. Александр поворачивается спиной к городским стражникам — молчаливое презрение бьёт больнее окрика.

Домаш появляется, когда всё стихло. Верхом, борода расчёсана, будто с утра готовился.

— Самоуправство это, князь! На городском мосту, твои люди с нашими дерутся за пост, который город тебе не отдавал!

Вокруг — половина торга. Купцы, лодочники, какая-то старуха крестится. Александр понимает: что бы он ни сказал, скажет это не Домашу. Скажет городу.

— Самоуправство, боярин, — отвечает он ровно, — это когда человек хватается за меч там, где надо за ум. Я поставил сотника туда, где он заслужил место кровью. Твои люди пришли его согнать. Кто из нас самоуправничал — пусть мост сам скажет, вон кровь на досках.

— Гость ты на нашем столе, — хрипит Домаш, — а ведёшь себя, будто хозяин! Город тебя звал шведа бить, а не стражу расставлять!

— Город звал меня бить шведа, — в голосе Александра появляется сталь, — потому что сами бить не умели. Я бил. А стражу у моста поставлю ту, какой верю, покуда меч мой город защищает. Коли недоволен — зови вече. А улицы драками не решают, это дело для позора, боярин, не для торга.

Домаш смотрит на него, разворачивает коня и уезжает молча. Александр садится в седло. Плечо отзывается тупой болью. Он знает: до вечера эта стычка облетит весь торг. И в каждом пересказе будет звучать одно: князь возомнил себя господином. Только теперь враг не на другом берегу, а здесь, среди своих. И меч против него бесполезен.

Вечевой колокол на площади бьёт редко и тяжело. Не так, как летом — тогда звон летел радостью. Теперь каждый удар падает отдельно, будто кто-то отсчитывает дни до приговора. Александр слышит этот ритм и понимает: звали не на войну. Звали судить.

Площадь полна. Посадник, Домаш и еще несколько бояр стоят на помосте возвышаясь над толпой. Посадник поднимает руку, и гул стихает волнами.

— Люди новгородские! Собрал я вас не хвалить князя — хвалили уже, колоколами встречали. Собрал спросить: доколе терпеть будем, что гость наш хозяином себя мнит? Толпа рокочет.

— Добычу шведскую один к рукам прибрал! Сотника своего на мост поставил!

Александр сидит в седле, Гаврила рядом, лицо каменное. Из толпы кто-то кричит "Невский!", но тут же глушит визгливый боярский голос:

— Невский он там, за Невой, а здесь — князь, да не хозяин! Нынче мост, завтра весь город под руку возьмёт!

— Так он нас спас! — орут из другого конца. — Защитил и будет сидеть смирно! А то повадился один решать!

Площадь делится на глазах. Александр спокойно спешивается и идёт к помосту пешком. Толпа расступается перед ним.

Посадник даёт слово. Александр поднимается на помост, оглядывает тысячи лиц.

— Городу я служил, как умел. На Неве дрался не за себя. Добычу брал по праву ратному. Сотника поставил, где верил больше, чем боярскому выбору. Ответ мой короток: было бы иначе — шведы бы стояли сейчас не у Невы, а у ваших ворот.

Он замолкает. Ни оправдания, ни просьбы. Только эти фразы, брошенные в толпу, как камень в воду. Домаш усмехается первым:

— Вот и весь ответ. Не просит, не кается. Себе на уме князь.

Посадник ставит дело на голос. Крик встаёт стеной. "Съехать" тонет и всплывает снова, пока не становится ясно: большинство орёт за отъезд.

Александр стоит на помосте без всякого выражения. Внутри сжимается не обида — обида была бы слабостью. Внутри сжимается холодное, ясное понимание: его только что выгнали. За недостаточную ловкость в вопросах дележа трофеев. Он молча снимает с правой руки боевую перчатку, прошедшую через Неву, и кладёт её на край стола перед посадником. Жест читается без перевода: здесь мне больше нечего держать. Разворачивается и идёт прочь, не оглядываясь. За спиной нарастает новый гул — уже не о нём. Александр не слышит в нём ничего, кроме подтверждения того, что понял ещё у моста: эта земля благодарна ровно до тех пор, пока в благодарности нет цены.

На этот раз собирались обстоятельно. На Городище дворня мечется от клети к саням. Волхов встал, лёд блестит стеклом. Александра стоит в сенях, кутаясь в шубу, смотрит, как девки волокут укладку из Полоцка. Никто не плачет. В доме, который покидают с позором, слышно только скрип полозьев и стук сундучных замков. Сына заворачивают в овчину. Александра принимает его, прижимает к груди. Он сопит, не зная, что мир вокруг только что переломился. В этом неведении есть что-то, за что хочется благодарить Бога.

Она смотрит через двор на мужа. Александр стоит у коновязи без шапки, мороз щиплет уши, но он этого не замечает. Отдаёт последние распоряжения сотнику. Голос ровный, слова короткие: кому в сани, кому прикрывать обоз. Ни один мускул не выдаёт, что не так давно жители города кричали ему "съехать".

Александра ждёт. Может, вздоха, может, того, как он сожмёт кулак. Она знает: гнев у него есть. Но сейчас в нём горит что-то другое, задавленное так туго, что снаружи не видно ни искры.

— Воду в баклаги не забудьте, — говорит он сотнику. — До Переяславля путь не близкий.

И всё. Ни слова о вече, ни слова о посаднике, ни слова о Домаше.

Она подходит ближе, насколько позволяет снег.

— Ты так и будешь молчать?

Он поворачивается — сперва договорив с сотником до конца. В глазах нет обиды, только усталость долгих сборов.

— А что говорить. Слова я им уже сказал. На вече. Больше нечего прибавить, разве что начать торговаться, а торговаться я не умею. Меня этому, знаешь ли, забыли научить при княжеском дворе. Слишком мелкий навык для будущего князя.

— Это тебя и выдало, — вырывается у неё. Он коротко, почти незаметно улыбается одним углом рта.

— Может, и выдало. Садись в сани, застудишь сына.

Она садится, прижимая мальчика. Чувствует сквозь овчину, как бьётся его маленькое сердце — быстрое, ровное, не знающее ни обид, ни счёта боярских поклонов. Сани трогаются. Городище — пустеющие хоромы, коновязь, двор — начинает уплывать назад. Городские стены встают впереди серой громадой, потом остаются позади, тают в морозной дымке. Александра оглядывается один раз и видит, как город сливается с белизной, будто не было ни торжества, ни крика "Невский".

Она смотрит на мужа. Он сидит прямо, не оборачиваясь. И ясно понимает: эта его несгибаемость однажды станет для них обоих не силой, а ценой.

— Александр, — зовёт она.

Он поворачивает голову.

— Что теперь?

Он смотрит вперёд, в снежную равнину, и отвечает, не оборачиваясь:

— Теперь — ничего. Пойдём к отцу. А Новгород сам позовёт, когда ему станет страшно. Позовёт — ещё как позовёт. Вопрос лишь в том, во сколько нам это обойдётся на этот раз. Надеюсь, хоть скидку за прошлое спасение сделают.

Глава 8. Зов из-за озера

Переяславский терем встречает их тесной теплотой – не тем простором, к которому Александр привык на Городище, а малыми покоями, где печь дышит жаром на всю горницу и половицы скрипят под чужими, отцовскими слугами. Три месяца минуло с того дня, как сани въехали в этот двор, и за три месяца он так и не научился звать это место своим.

Василий ползёт по полу, цепляясь пухлой ладошкой за край лавки, пыхтит, съезжает набок, снова хватается – и вдруг, оттолкнувшись, одолевает целый аршин голого половика, прежде чем сесть и заорать от гордости за самого себя. Александра смеётся, подхватывает сына на руки, целует в затылок, где волосы ещё редкие и мягкие, как пух. Александр стоит у окна, глядит на это и чувствует, как что-то внутри него оттаивает, будто лёд на Волхове в марте – незаметно, кусками, с треском где-то в глубине.

– Гляди, – говорит она, – уже сам. Никто его не вёл.

– Весь в отца, – отвечает он, и не поймёшь, шутит или нет.

Из сеней доносится голос дьяка – тот зовёт князя к столу, где лежат грамоты по сбору ополчения на случай новой войны с Литвой. Дело не княжеское, писарское, но отец поручил ему это без объяснений, просто положив кипу свитков на стол и сказав: «Разбери, у меня руки не доходят». Александр понимает: не оттого, что у Ярослава Всеволодовича руки не доходят, а оттого, что безместному сыну нужно какое-то занятие, иначе он будет слоняться по терему, как лишний гость, и напоминать всем, в том числе себе самому, что у него нет своего стола.

Он садится рядом с дьяком, пожилым, сутулым человеком с чернильными пальцами, и вникает в писанину: сколько копий, сколько дворов должны выставить ратника, где недобор, где перебор. Работа скучная, нудная, как перебирание зерна, но в ней есть своя правда – цифры не лгут и не плетут интриг, они просто есть, и если дело сделано верно, дружина соберётся вовремя.

– Вот тут, княже, – говорит дьяк, тыча пером в строку, – Зубцовский погост недодал двух ратников против прошлого раза. То ли мор прошёл, то ли писец обсчитался.

– Пошли узнать, – отвечает Александр. – Если мор – вычеркни из долга, не с кого спрашивать. Если обсчёт – пусть доплатят к весне.

Дьяк кивает, скрипит пером, и Александру кажется на миг, что он снова в Новгороде, за тем же занятием – только там это было его право, а здесь милость отца. Разница невелика на вид и огромна по сути, и он гонит от себя эту мысль, как муху, что всё равно возвращается.

Гонец влетает в горницу без доклада, забыв снять шапку, и это одно уже говорит больше, чем его первые слова.

– Князь Ярослав Всеволодович… – начинает он, запинаясь, ищет глазами хозяина терема и, не найдя, оборачивается к Александру. – Беда, княже. Немцы Псков взяли. Крепость в Копорье поставили, на своей земле, и ходят оттуда, жгут сёла. Говорят, до самого Новгорода тридцать вёрст осталось.

Дьяк роняет перо. Александра у окна прижимает к себе Василия крепче, чем надо, и мальчик недовольно пищит.

Александр молчит. Он смотрит на гонца, на его заиндевевшую бороду, на дорожную грязь, впитавшуюся в кромку армяка, и первое, что подступает к горлу, – не жалость к Пскову, не тревога за Новгород, который он оставил три месяца назад под крик «изыди, князь», а нечто другое, тёмное и постыдное: холодное, почти праздничное удовлетворение. Вот оно. Вот и позвало. Не так скоро, как он думал, а горше – через захваченный город и сожжённые деревни, но позвало же.

Он ловит себя на этой мысли, как ловят вора за руку, и внутри всё сжимается от стыда. Там, под Копорьем, горят не боярские хоромы, не Домашевы амбары, там горят избы, в которых живут такие же бабы, как эта, что держит сейчас на руках его сына, такие же дети, что едва научились ползать. А он стоит и первым делом думает не о них, а о себе – о том, что теперь город приползёт на коленях звать его обратно.

Он отворачивается от гонца, будто прячет лицо от самого себя, и в этот миг Александра опускает Василия на лавку и подходит ближе, вглядываясь в мужа с той прямотой, какую позволяет себе только жена.

– Что с тобой? – спрашивает она тихо, но так, что не отвертишься.

– Ничего, – отвечает он слишком быстро, и сам слышит фальшь в собственном голосе.

– Неправда. Ты услышал про Псков и переменился в лице, будто тебе радость принесли, а не горе.

Он молчит дольше, чем нужно для ответа, и дьяк, почуяв неладное, тихо выходит из горницы, уводя с собой гонца – якобы кормить с дороги, а на деле – подальше от разговора, который не для чужих ушей.

– Радость, – повторяет Александр, и горечь в его голосе такая, что Александра невольно отступает на полшага. – Не радость, Саша. Хуже. Я на миг обрадовался чужой беде, потому что в ней – моя надежда. Вот что мне стыдно сказать вслух, а тебе я скажу, раз уж спросила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.